

АЛЕКСЕЙ ЧАПЫГИН

РАЗИН

СТЕПАН. ТОМ

2

Россия державная

Алексей Чапыгин

Разин Степан. Том 2

«Public Domain»

1924-1927

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

Чапыгин А. П.

Разин Степан. Том 2 / А. П. Чапыгин — «Public Domain»,
1924-1927 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-02992-9

Алексей Павлович Чапыгин (1870—1937) — русский советский писатель; родился в Олонецкой губернии (ныне Архангельская обл.) в бедной крестьянской семье. В юности приехал в Петербург на заработки. Печататься начал в 1903 г., немалую помощь в этом ему оказали Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко. В 1913 г. вышел его сборник «Нелюдимые». За ним последовал цикл рассказов о таежниках «На Лебяжьих озерах», в которых писатель рассматривал взаимоотношения человека и природы, а также повесть «Белый скит». После Октябрьской революции увидели свет две книги биографического характера: «Жизнь моя» (1929) и «По тропам и дорогам» (1930). Последние два десятилетия жизни писателя были отданы исторической прозе. В течение октября 1926 — января 1927 г. он написал исторический роман «Разин Степан», оказавший значительное влияние на развитие жанра отечественного эпического романа. В 1935—1937 гг. были опубликованы четыре части нового романа Алексея Чапыгина «Гулящие люди». Во второй том этого издания вошли окончание второй и третья части исторического романа «Разин Степан», в центре которого — судьба Стеньки, казацкого сына, бунтаря и народного «водителя». Яркое воссоздание русской старины, широкое использование фольклора характеризует творческую манеру самобытного русского писателя.

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-02992-9

© Чапыгин А. П., 1924-1927

© Public Domain, 1924-1927

Содержание

Часть вторая (Окончание)	6
В Хвалынском море	6
В Персии	14
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Алексей Павлович Чапыгин

Разин Степан. Том. 2

Часть вторая (Окончание)

В Хвалынском море

1

Чертя белесыми полосами безграничную сплошную синеву, слитую с синим небом, идут струги, волоча за собой челны, по Хвалынскому морю. Ревут и скрипят уключины. Паруса на низких смоленых мачтах подобраны, и кое-где на черном треплются флаги. Караван Разина растянулся далеко, хвост судов исчезает в мутной дали. Спереди назад и сзади наперед изредка идет переключка:

– Неча-ай!

– Не-е-ча-а-й!..

В синей дали чернеют точки островов.

– Ладно ли идут струги?

– На восток идут, есаул!

– Острова зримы? Островов тут не должно быть!

В глубоком чреве большого струга на нижней палубе, устланной ковром, лежит атаман с названным братом, Сережкой Кривым. В трюме, мотаясь, горят свечи, падают, гаснут и, вновь зажженные, вспыхивая и оплывая, горят. Узкие окошки в трюме затянуты пузырем; в окошки бьет волной, барабанят дробно брызги. Названные братья пьют из глубоких чаш, разливая на кафтаны хмельной переварный мед. Боярский сын Лазунка, чернобородый, в зеленом полукафтанье с петлями поперек груди, возится в сундуках, плотнее составляя медные кувшины с вином. В углу трюма болтышаются смоляные бочонки с медами, вывезенные Сережкой в дар атаману с родины, – «переварный крепкий» да «тройной косатчатой», связанные в рогожках веревками, чтоб море не катало их по трюму.

– Чаяли меня, брат Степан, воеводы не пустить в море, да на Карабузане я таки с робятами шатнул одного – стрелы от бою расскочились, а голова ихний еле душу уволок... Я же к тебе сшел с людьми да подарками... – Говоря, Сережка, вытянув шею, вслушивается в плеск волн; блестит в его правом ухе крупное золотое кольцо с яхонтом.

– Чего, Сергей, как будто конь к погоде, голову тянешь?

– Чую я и мекаю, Степан, что не острова углядели на море наши, – то каторги с Гиляни.

– Очи есть у дозорных, пей!

– Пью, пошто не пить? Да море я гораздо знаю, и слух к ему у меня нечеловечий... Будто скрозь сон битву – чую голоса.

– Пей же! Не плещет море, а то ко рту не донесешь... Скажи, – ты как видок на моей свадьбе должен все доводить, про жонку: что там моя Олена?

– Взлся, знаю... Батько хрестной, Корней атаман, с любовью к ей лезет, дары дарит...

– Сатана! Ну, она как?

– Да ништо! Держит себя, дары берет, а держится... Робята у тебя – ух! Старшой, Гришка, удал и ловок, хоть в море бери, а малой крепыш буде козак... Ну, Фрол, твой брат, – баба

старая... ничего ладного... Домрой бренчит песни, по свадьбам ходит... Пра, Степан, во заговорило, чую – то каторги!

– Пьем! Ухо мое тож дальне чует... не векоуша – и я чую.

– Должно, наверх?

– Пей, идем!

Вверху в синеве и черном по бокам стругов машутся черные головы, скрипят уключины, им невольно подпевает море. По синей ширине, смутно белея, крутятся кольца волн и кудри пены. Порой, на темном пологие качаясь, вскипает светлая голова в серебряной кике с алмазными перьями. Явственны вдали черные точки. По-звериному на высоком носу струга, лежа на животе, Разин с Сережкой глядят вдаль, втягивая грудью запахи моря и ветра; иногда несет на них жилым.

– Чуешь?

– Слышу, Сергей!

– И дух жилой?

– Чую! – Разин встает, по каравану гремит: – Не-ча-а-й!

– Не-ча-а-й!

– Соколы! Где есаулы?

– Батько, есаулы в переднем стру-у-гу! На энтот един спит крепко – Мокеев Петра, и добудиться боязно, со сна дерется, а бой его сам ведашь. Ужо коли спробую!

– Не шевели Петру – пущай, кличь иных!

Казак, стоявший в синеве и ветре, черный, двинулся вдоль борта, тычаясь в головы гребцов.

Разин, тронув за плечо Сережку, сказал:

– Сила, брат Сергей, у того Петры едино как веком у запорожца Бурляя, – коня с брюха здынет!

– Э, брат, – отколь такой?

– Шел от воеводы на Волге, в бой идет, как домой. И младень умом – всему рад. Седни дал ему резную запану – медь золочена, так он чуть не в землю зачал кланяться... Робенок, а сила страшная.

– Добро! Силу почитаю...

Раздался длительный разбойный свист. Свистел казак, сзывая есаулов, – свист заглушил скрип уключин. На свист послышались крики:

– Идем!

На струг к атаману полезли, мутно белея головой, Иван Серебряков, за ним человек ниже ростом, и голос Ивана Черноряца:

– Где атаман?

Волоцкий, привычно щелкая в ножнах саблей, Рудаков на кривых тонких ногах, высокий и тощий. Последней поднялась на борт стройная фигура в черном от сумрака полукафтаные – Федор Сукнин. Есаулы обступили Разина. Разин, повернувшись к хвосту каравана, подал голос, и по всему длинному ряду судов загремело:

– Ге-ге-й! Заказное слово заронить – идти тихо, на глаз!

– Приказывай, Степан Тимофеевич!

– Я лишь спрошу, братья, что зримо впереди?

– Мнится, быдто струги?

– Пошто! То острова.

– Галеры, ясаулы, – ей-бо!..

– Бусы от Гиляни! Они?..

– Да, братья, то не острова – струги! Указать козакам лезть в челны... Как и доводили лазутчики, стретят нас бусы кизылбашски... В челны не брать пушек, брать винтовальны

пищали – в нужде бить пулей... Оглядеть ладом веревки у железных кошек! Для приметывания огню взять топоры коротки, не бердыши, багры тож! Идти на восток, но стороной! Для отдыха гребцам сбавим стругам ходу – челны забегут вперед. Ждать челнам боя пушки, тогда приступить к каторгам – рубить брюхо кораблей пониже верхней волны. И еще: всяк десяток челнов идет с есаулом, в одном же будут стрельцы, я и Серебряков Иван!

– Добро!

– Так, батько, – идем!

Снова свист и голос:

– Козаки! Ладь челны в ход!

По свисту и голосу рассыпалось в синем сверкающее черное. Голос атамана умолк.

2

В сгипе с востока к северу гилянского берега, в глубоководной бухте, обставленной невысокими горами с мелкорослым кипарисом, сгрудился большой караван судов гилянского хана. По приказу хана суда ждут рассвета. На большом судне, с бортов украшенном коврами, хан собрал военный совет. На судне для хана невысокий светлый дом из пальмовых досок с полукруглыми окошками, в узорчатых решетках рам – стекла. Внутри ханская палата по стенам и полу крыта коврами. В глубине возвышение, похожее на большое широкое ложе, устланное золотными фараганскими коврами. На него вели три золоченых ступени. Плотнo к стенам высокие резные черного дерева подставки, на них горят плошки с нефтью. Две плошки горят близко к хану, на верхней ступени. Лицо хана в мерцающих отсветах смугло-бледное, покрытое на щеках и лбу красноватыми пятнами, длинная черная борода переливается синевой. Хан сидит, подогнув ноги, перед ним цветной кальян, но хан курит трубку слоновой кости с длинным чубуком с золотыми украшениями. По правую руку хана юноша, как и хан, одет в голубой плащ; юноша курчав, черен волосом, смуглый, с выпуклыми карими глазами; под голубым плащом юноша одет в узкий шелковый зипун, по розовому зипуну пояс из аламов с кинжалом. Юноша сосет кальян. На ложе у кальяна лежит серебряная мисюрка¹, такая же, как у хана на голове, мисюрка хана с золотым репьем на макушке. Перед ханом в длиннополых бурках, мохнатых и черных, в панцирях под бурками, с кривыми саблями сбоку, в мисюрских, без забрала, шлемах, стоят вожди горцев и родовитые гиляне. Впереди седой визирь без шлема, с желтым морщинистым лицом – седые усы, бурые от куренья табаку. По коричневому в шрамах черепу визиря вьется седая коса, выдавая его горское происхождение. Старик в плаще вишневого цвета, под плащом синее, заправленное в голубые, широкие сверху и узкие книзу, штаны. Голубое и синее разделено широким желтым кушаком, за кушаком пистолет. Военачальник и все тюфянчей² в башмаках с медными, загнутыми вверх носками. Зная, что хан не любит людей с опущенной головой, все подчиненные, начиная с визиря, глядят подняв лицо. Хан молчит. Молчат все. Вынув изо рта трубку, хан плюнул в огонь ближней плошки. Хан сказал, как говорят в Исфагани, по-персидски:

– Шебынь, сын мой, без панциря, которого так не любишь ты, будешь сегодня отослан в Гилян. Ты испросил у меня слово – взять тебя в бой, но вижу твое упорство и еще скажу: без панциря в бою не будешь!

Юноша кинул мундштук кальяна, встал, поклонился хану и, приложив пальцы правой руки к правому глазу, сказал:

¹ М и с ю р к а – египетский шлем без забрала. М и с р – Египет.

² Т ю ф я н ч е й – по-русски боярский сын.

– Чашм!³ Так хочет хан: иду надеть панцирь. – Прыгнув, не сходя по ступеням, резвой походкой вышел.

Хан, обводя глазами стоящих, заговорил:

– Ашрэф-и Иран!⁴ Ко мне прислал отборных воинов горский князь Каспулат Муцалович, правоверный сын пророка, и предупредил, что к Гилян уходят морские разбойники, ход их к нам от острова Чечны, где стояли их бусы. Они требовали от князя, стоя у острова, вина, женщин и оружия. Князь, чтоб оберечь берега свои от войны, послал им вина, после того они уплыли к нам. Мы же не ради славы, – славы не может быть от победы над сбродом воров! – мы дадим бой и сокрушим навсегда чуму, блуждающую по Кюльзюм-морю, – иншалла! Али Хасан, хочу знать твои мысли о войске и кораблях моих!

Военачальник приложил руку к глазу:

– Чашм! Люди гор, позванные тобой воины, смелые на суше, привычные к бою в горах и долинах, – в море же люди гор, великий хан, похожи будут на кошку в воде...

– Я, повелитель Гиляна, отвечу тебе вот: сам великий шах Аббас ду⁵ позволил мне брать лишь того, кто храбр, и я взял достойных воинов.

– Великий хан! Он гневается на старика, но приказывай – умолкну, с непокрытой головой пойду в бой и поведу твои бусы. Я не боюсь, не боялся войны.

– Бисйор хуб!⁶ Говори еще.

– Великий хан! Не по моей, по твоей воле, повелителя Гиляна, должно разгрузить от войска бусы, оставить на них низких людей мало, дать бусы на разграбление гяурам. Вместо воинов нагрузить суда тем, что запрещено правоверному Кораном: вином нагрузить суда! На берегу же из лучших стрелков сделать засаду – во все годы моей жизни на вино были жадны приплывавшие с севера грабители... Потом, когда они овладеют добычей, той, что мутит ум человека и глаза воина делает слепыми к бою из карабина, пустить для приманки на берег перед галерами негодных женщин – они увлекут серкеш⁷ туда, куда им укажем, и там уничтожим их, иншалла!

– Али Хасан, ты советуешь, как гяур, а не сын пророка! Ты велишь предать поганым женщин Гиляна?

– Великий хан! Негодных женщин.

– Мне смешно тебе, почтенному сединой, говорить, что негодных женщин в Персии нет. В стране правоверных нет негодной женщины, которая бы пала в объятия необрезанного гяура, и такой нет, которая бы презрела закон, открыв лицо поганым!

– Великий хан, сколь понимаю я, – опасность велика. С грабителями идет к Гиляни древний вождь, имя его воодушевляет их, как правоверного имя пророка, – имя того вождя, благородный хан, «Нечай-и». Еще в юности моей, помню, он грабил берега Стамбула, сжег Синоп. Как чума, пугал и опустошал селения Ирана. Пока он с ними, грабители, что идут к нам, непобедимы!

– Бисмиллахи рахмани рахим!⁸ Мы победим, и Кюльзюм-море поглотит их, как пададь.

Выдвинулся вперед один из горских вождей. Распахнув бурку, колотя по груди, звеня панцирем, он взмахнул смуглой рукой и сказал также по-персидски:

– Благородный хан, нам, вольным кумычанам, знакомы козаки с далеких рек Танаида, где живут они! Мы в горах много раз побивали их на Куре и Тереке, отсюда проходят они в

³ В смысле: слушаю!

⁴ Благодарная Персия!

⁵ Второй.

⁶ Очень хорошо!

⁷ Неподчиняющихся.

⁸ Во имя Бога милостивого и милосердного!

Кюльзюм. Без числа в горах гниют козацкие головы! Твой же визирь Али Хасан – да простит ему пророк! – слаб и стар. Он горец, но забыл про свой народ и не верит уже тому, чем славны горцы.

Хан поглядел на молодого вождя: высок ростом, худощав; на узком желтом лице горят смелые глаза. Хан встал:

– Бисмиллахи рахмани рахим! Будет как сказал я. И готовьтесь к бою... Скоро заря! Я считаю врагов презренными! Имея много храбрых кругом, стыдно говорить о ворах отважным. Выводите в море корабли! Тебе же, Али Хасан, скажу: не ты будешь военачальник в бою – сам я!

Все приложили правую руку к правому глазу, ответив в голос:

– Чашм, великий хан!

Синее мутно голубело. Корабли, прогромыхивая железом якорей, теснились из бухты в голубое, начавшее у берега зеленеть. На кораблях звучал предостерегающе крик:

– Хабардор!⁹

3

На носу челна с гребцами Разин стоит в черном кафтане, левая рука, топыря полу, уперта в бок, правая держит остроносый чекан на длинной рукоятке. Гребцы почти не гребут, многие, схватив пищали и топоры, ждут, когда будет пора стрелять, рубить. Высокий чужой корабль медленно идет, распустив паруса; по его черному боку отливает синим блеском.

И грянул страшный голос:

– Пушкари, трави запал!..

На голос Разина со стругов, собранных на море клином, ответили гулом по воде пушки:

– Сарынь, на кичку кораблям!

– Алла!

– Мы победим – иншалла!

– Секи днища!..

Из голубого неслышно выдвинулись черные челны, как акулы с рыжей спиной из запорожских шапок. Нос каждого челна плотно ушел под выпуклые бока вражьих кораблей – топоры начали свою работу; в порубленные дыры в желтом свете запыхавшей зари полезли внутрь кораблей казаки в синих куртках. Стук, грохот, звон цепей на кормах судов и крики:

– Дуй конопатчиков вражьих!

– Приметыва-ай им огню к пороху-у!..

– Гей, соколы! Плотно держи у кораблей челны!

Боевой челн с атаманом проходил медленно вдоль всего каравана. Разинцы сцепили крючьями персидские суда. На корме челна атаманского, среди растопыренных пищалей, согнулась в рыжей шапке фигура Серебрякова. Есаул зорко наблюдал за боем на судах, выискивая начальника; найдя, прикладывался к очередной пищали; вспыхивали два огня: один освещал лицо, другой на конце дула, и редко какой гордоголовый горец или перс оставался в бою – пуля есаула била метко.

– Добро, Иван!..

Серебряков кидал в челн разряженную пищаль, брал другую. Стрелец на дне челна заряжал пищали.

– Беру, батько, крашенные головы тараканьим мором!..

– Ты молодец!..

⁹ Берегись!

Между сцепленными судами шнырял челн, появляясь то с одной, то с другой стороны каравана. В челне на носу с зажженным факелом в одной, с коротким багром в другой руке, на поворотах сверкая кольцом в ухе, мелькала фигура Сережки, среди выстрелов и воя слышался его резкий, как по железу ножом, голос:

- В брюхо галер – дай огню!
- Чуем!..
- Ладим огонь, ясаул!
- Эге, гори-и!

4

Над ухом сонного бывшего сотника Мокеева кто-то крикнул:

– Ну-тко, Макарьевна! – Хлопнула, сотрясая воздух, пушка.

Мокеев сел.

– Эк ты убило! Проспал бой?..

– Не бежи, коза, в подмогу – волк наш! – успокоил Мокеева голос.

На корме мотаются две головы: дюжий казак в синем и седой без шапки Рудаков Григорий – ветер шалит серыми космами старика. Рудаков закричал помощнику:

– Крени, козак, руль во сюды! – закричал, мотнув головой старчески, но задорно.

Мокеев, сидя, шарил оружие, в голове шумело, трезвонило, ухало. Рядом лежали пицаль и топор. Пощупал на груди даренную Разиным бляху – успокоился, взяв топор, встал.

По голубым волнам плескало парчой зари. Пошел мимо гребцов – те разминают плечи и руки, от голов пар, рубахи черные прилипли к телу, мокрые. Ржавые кошки прочно въелись в дерево больших кораблей, сцепленный караван кажется чудищем: иные корабли на боку, на ту и другую сторону шетинятся обрушенные мачты. В дырья на боках кораблей лезут синие куртки. Те корабли, что стоят, светлеют мачтами, пестреют цветным зарбафом флагов в узорах непонятных букв, и кажется Мокееву, что не люди – ревет сам голубой, желтеющий рассветом воздух:

– Нечай!..

– Секи-и!..

Вспыхивают огни и огоньки, трещат, бухают знакомо пицали, и рвется снизу от самой воды стук топоров, хряст дерева.

– Топят? Днища секут!

С тяжелой головой, но привычно спокойно переваливаясь от качки с ноги на ногу, есаул шел вперед, напоминая большого зверя, что идет к сваленной добыче. Мокеев перелез на высокую корму чужого корабля, увидел, что казаки режутся с кизылбашем «в притин»¹⁰.

– Тихий Дон!

– Бисмиллахи рахмани рахим!..

– Дай помогу я?..

Впереди от воды резнул голос Сережки:

– Гори, черт!..

Внизу корабля страшно бухнуло: вверх полетели дерево, якоря и звенья цепей. Персы, кинув резню, побежали на другой корабль, иные срывались в море.

– Конопатчиков бей!

– Еще огню в порох! – звенит голосом Сережка.

– Иа алла!¹¹

¹⁰ В притин – впритычку, вплотную.

¹¹ Боже мой!

– Иа!¹²

Зацепив топором высокую корму в золотых закорючках, Мокеев перелез на другой корабль. На палубе судна зеленый, как большой жук с рыжей головой, в полукафтаны с красным кушаком, утыканный кругом пистолетами, от мачты к мачте перепрыгивал Лазунка, стрелял не целясь: пуля его пистолета била персов под мисюрские шлемы – промаха не было.

Ближе к носу корабля высокий перс с бородой, крашенной в огненный цвет, кричал своим, махал кривой саблей, тыкал в сторону Лазунки, видимо злясь, что персы прятались от выстрелов:

– Педар сухтэ!¹³

– Пожар зришь?.. Я те вот! – Мокеев шагнул к персу.

– Педар... – крикнул перс и в трех шагах от Мокеева упал без движения. Лазунка пулей сбил с него шлем, разворотив череп.

– Ох, и меток, черт!

Перешагнув перса, Мокеев забрался на другой корабль.

– Проспал!

Мохнатый из-под палубы, с левого плеча, вывернулся горец, сверкнули глаза и огонь пистолета. Мокеева тяпнуло в грудь; пуля, встретив препятствие, взвизгнула прочь.

– Педар сухтэ! – Желтая рука сверкнула сталью.

Мокеев как бы отпихнулся резко и коротко, наотмашь, лезвием топора, не взглянув вниз под ноги, звеня подковами, скользя в крови, пошел.

– Где ж бой?! – Шагнул еще и, привычно сгибаясь, пряча руки с топором назад, остановился. Поперек палубы, раскинувшись, как хмельной, лежал Черноярец: светлые волосы запеклись в крови, наискосок веселого лица застыла кровавая лента.

– Такого парня? А, дьяволы!..

– Соколы, кру-у-ши!

По зеленеющему, дышащему влажными искрами несется голос, и как бы в ответ атаману пуще треск, звон железа и запахи моря, смешанные с запахом крови.

– Ихтият кун, султан-и Гилян!¹⁴

– Живы – иншалла!

– Иа, великий хан!

Мокеев слышит рокошующие чужие слова, корабль завален казацкими трупами – по мертвому и мягкому лезет мимо пальмовой палаты... На носу корабля рубятся казаки и стрельцы.

Там же, недалеко к золоченому носу корабля, окруженный мохнатыми в шлемах, отбиваясь и нападая, бьется с разинцами чернобородый в голубом. Под голубым, сверкая, звенит кольчуга. Казаки отступают от кривой сабли – сабля чернобородого брызжет кровью, голубой рукав до локтя мокрый, в крови.

– Алла, ашрэф-и Иран!¹⁵

– Пусти-ко, робята! – Мокеев взмахнул топором. – Вот те блин с печи!..

Сабля чернобородого, взвизгнув, сверкнула кусками в море.

– Редко гостишь! Ешь!..

Второй удар – резкий и рушачий, как молния. От него из-под голубого белым огнем брызнули кольца панциря, светлый шлем запрокинулся, чернобородый осел, голубое на нем быстро мокло, чернело – туловище расселось от левого плеча до пояса.

– Иа алла!..

¹² Худо!

¹³ Отец твой сожжен в аду! (Площадная брань.)

¹⁴ Опасайся, повелитель Гиляна!

¹⁵ За Бога, благородная Персия!

– Благородный хан!..

Мокеев повернул назад, выругался крепко. Впереди горцы, сбросив бурки, падали в море, казаки рубили их. Назади, куда шел Мокеев, кроме своих, живых и убитых, никого не было. Море заливало палубы вражьих кораблей.

– Бражник! Черноряца проспал и бой тож.

Мокеев швырнул топор. Еще бегали люди, кричали, где-то сказали чужие:

– Иншалла!

Свои кричали:

– Кто ен? Пестрой, как кочет!

– Брат хана али сын! Перст его знает!

– А хан?

– Самого хана Петра Мокеев посек до пят!

– Бою не видал, а хана убил? Лгут!

– Мы-то живы. Волоцкого с Черноряцем уходили...

– У хлеба, брат, не без крох!

– Эй, Петруха! Двух есаулов проспал...

Грянуло в воздухе:

– Соколы-ы! В челны забирай рухледь и ясырь.

– Чуем-оа-а...

– Велит! Ташши ханское из избы корабля...

– А ну и кораблик! Хоро-о-ш.

Стали слышны всплески волн – шум боевой улегся.

Из тумана с мутно желтеющих берегов доносило пряным запахом неведомых растений. Перекатываясь зелеными всплесками, искрилась вода.

В Персии

1

Рыжий, длинноволосый, с маленькой, огненного цвета бородой клином, в полосатом по серому белым кафтане без кушака, с медным крестом нательным под ситцевой рубахой, ходит по базарам, площадям и кафам человек в Исфагани с утра до поздней ночи. Встречаясь с персами знакомыми, весело, с оттенком шутовства на веснушчатом лице, кричит, машет синим плисовым колпаком:

– Салам алейкум!¹⁶ – И, не слушая ответа приветствию, лезет в ближайшую гущу людей, везде болтает по-персидски бегло, иногда говорит по-арабски и, протараторив мусульманскую молитву, незаметно отплюнется, скажет себе:

– А, чирей те на язык, Гаврюшка!

Если б не его бессменный русский киндячный кафтан и колпак московский, так издавна знакомый персам, да вместо тупоносых исфаганских малеков¹⁷ рыжие сафьяновые сапоги, то поговору, изученному юрким странником в совершенстве, его бы всяк признал за перса, хотя петушиной фигурой он мало похож на тезика. Перед православными редкими часовнями рыжий истово бьет поклоны, ставит свечи и, попросив у монаха деревянного масла, мажет им ладони рук и волосы. Вид рыжего глуповато-кроткий, только черные, крысы, узко составленные глаза зорки и таят злобу. Смеясь, он шмыгает глазами по сторонам. Персы-торговцы, сидя на своих прилавках, шутят с ним и охотно дают курить кальян – он знает их поговорки и молитвы.

Забравшись в гущу базара, в грохот и шум, где ничего не слышно, кроме извозчиков с возами на быках или верблюдах, увешанных узлами, не смолкая орущих во всю глотку: «Хабардор!» – рыжий лезет по каменным лестницам, извилистым, пахнущим чесноком, лимоном и потом, забирается в каменные лавки, расписанные яркими красками, где делают чернила, сундуки и продают книги, перебирает арабские, персидские книги, особенно любит книги с «кунштами фряжскими», торгуется, часто повторяя: «Бисйор хуб!»

Завидев проходящую персиянку в чадре и штанах, бежит за ней, думая на бегу: «Авось с этой поговорю».

Сорвав с головы колпак, потушив на худощавом лице крысы глаза, шепчет внятно:

– Курбанэт шавам!¹⁸

Персиянка, покаясь на него из-под чадры, ответит:

– Отойди, гяур!

К ночи, побывав везде, где можно, рыжий залезал в свою каменную конуру. Перед окном без стекла и рамы, с одной лишь нанковой синей занавеской, сдвинутой на сторону, вместо стола гладкий большой ящик, повернутый верхом вбок; перед ним табурет черного дерева. Усевшись, ощутив табурет, рыжий, найдя табак, начинал курить трубку с кабаньей головой, медленно присасываясь к чубуку. Лицо его, беспечное днем, делалось другим, как будто бы куря рыжий собирал в памяти все виденное им за день. Покулив, густо отплюнувшись на каменный пол, лез в ящик, тащил оттуда склеенные листы бумаги, нащупывал медную чернильницу, гусиное перо – клал. Зажигал, стуча в темноте по кресалу, две свечи, иногда плошку с нефтью и начинал писать обо всем, что видел, слышал в столице шаха Аббаса.

¹⁶ Здравствуй!

¹⁷ М а л е к и – башмаки.

¹⁸ Я жертва твоя!

Сегодня, как всегда, в Тайном приказе узнал, что с торгового двора едут в Астрахань за государевой недочетной по товарам казной целовальник и приказчики. Сунув трубку, упер острые глаза в бумагу, сухая рука привычно побежала по листам. Написал подьячий в Москву по неотложному делу:

«Я, доброжелатель мой, государев боярин большой, Иван Петрович, дожидаячи, маюсь, а воровских посланцев к величеству шаху Аббасу нет и, должно, не будет вскорости; шаха Аббаса в Ыспогани нету, и, мекаю я, воры тож в том известны. От тутошних послышал, – молвь тезиков много понимаю, – что Стенька Разин с товарищи шарпают по берегам Гиляни и крутятся – то тут, то zde... где что приглядят. Я же всеми меры жду их не упустить, а как будут, пристану к ним, «что-де толмачом вашим буду». Инако к шаху мне пути нет. С ними же дойду шаха, скажу ему слово великого государя, как и указано тобой мне, милостивец боярин, и я чего для государевой службы рад хоть голову скласти. А чтоб не вадить время впусте, такожде по твоему приказу, боярин Иван Петрович, в междудельи делом малым промышляю. И нынче я, холоп твой, пошел к людям Тайного приказу, что на государев двор кизылбашской товар прибирают, глядел у их книги записные, да лаял меня, малого человека, а твоего, боярин, и государева холопа, стольник Федор Милославский, а как я ему, боярин, твой тайной лист вынул, то и тебя, милостивец, заедино лаял же, ногой топтал, а кричал: «что-де он государев шурин и никого не боится, сыщиков-де значнет уже по хребту ломить!» Одначе я того мало спугався, расспросил целовальников, что князь Федор посыланы: Ваську Степанова да с ним ту в Ыспогани в целовальниках терченин Митька Яковлев, а сказали, убоясь имени великого государя и твоего тайного листа, что-де, проезжаячи Тевриз-город, покрали у них на Кромсарае из лавки русских товаров:

Перво: собольих пупков три сорока по семи рублей – итого 21 р.

Другое: шесть сороков по шти рублей – итого 36 р.

Третье: одиннадцать сороков по пяти рублей – итого 55 р.

Четверто: шесть сороков по четыре рубли – итого 24 р.

А хто те товары крал, тот вор поймался на Кромсарае ж и отведен к базарному дараге¹⁹ с краденым, и по приводу того вора целовальники Васька Степанов да Митька Яковлев, приходя к хану и иным тевризским владетелям, о сыску тех пупков били челом, и против их челобитья у того вора сыскано и отдано целовальникам только пол осма сорока, ценою по три рубли с полтиною.

Всего же великому государю царю Алексею Михайловичу, всея великие и малые и белые Руси самодержцу, учинено убытку от служилых людей небреженья – сто двадцать два рубли.

И еще, боярин милостивец, Иван Петрович, есть у тех служилых людей порухи, да о том плотно не дознался – всеми меры буду дознавать. А сказывали мне целовальники, «что-де, когда крали собольи пупки на Кромсарае, были-де мы хмельны гораздо от тевризского вина, а тое вино ставил нам стольник Федор Милославский за послугу». Какую послугу делали ему – о том не сыскал, да сыщу.

Боярин милостивец! Кои вести соберу о ворах, испишу без замотчанья, лишь бы попутчая на Москву чья пала. Такожде ты о кизылбашах любопытствуешь много, то о их свычаях и поганой вере, о зверях и кафтанах их и челмах – обо всем особо испишу. Жалованное от тебя и великого государя из Тайного приказу мне за подписом моим дали – пять рублей десять алтын, три деньги.

Не осердись, боярин милостивец, что не все прознал! Кладу к тому многое старанье и доuku. Подьячей, а твой холоп, милостивец боярин Иван Петрович.

Гаврюшка Матвеев, сын Куретников, в тайных делах именуемый Колесников».

¹⁹ Д а р а г а – начальник базарной полиции.

2

Разин молча пил. Кроме Лазунки, никто не смел приступить к нему, даже Сережка и тот, издали взглянув на атамана, уходил прочь. На стругах тихо говорили:

– О Волоцком да Черноярце батько душой жалобит.

Грозный ко всем, Разин был ласков с Лазункой, и даже хмельной иногда слушал его.

– Батько, а закинь пить!

– Э-эх! Пришел я в окаянную Кизылбашу за золотом, да чует душа – растеряю свое узорчье. Вишь вот, Лазунка: два камня пали в море, два диаманта!

– Ой, батько, хватит на тебя удалых!

Скрипя зубами, Разин углубился в трюм атаманского струга; не раскрывая даже узких окошек на море, не зажигая огня, пил, спал и вновь пил. Иногда, крепко хмельной, уставя дикие глаза куда-то, тянул из кармана красных штанов пистолет, стрелял в стену трюма. Пуля, отскочив, барабанила по бочонкам и яндовым.

– Наверху – море, солнце, ветер. Прохладись, батько!

– Лазунка, к черту – в тьме душе светлее... Иван, Иван! Михайло...

На корме атаманского судна сидели, курили двое седых: Иван Серебряков и Рудаков Григорий.

– Беда, как пьет атаман!

– В породу, – отвечает Рудаков и, припоминая бывальщину, скажет: – Много Тимоша Разя пил, больше других пил, ой, больше! Иной раз приникнет душой, голову уронит, а спросишь: «Пошто так, казак?» – скажет: «Хлопец, сердце широко – зато горе людское крепко чует...»

Струги проходили медленно в виду берегов, повернувшись назад к острову Чечны. На носу стоял за атамана Сережка, рассматривал берега, поселки и города, будто изучая их. По берегам ездили на вьючных верблюдах купцы с товарами.

В медленно проплывающих мимо городах шумели базары, их шум покрывал всплески моря, рев верблюдов и надоедливо пилящий уши крик ослов. А когда прерывался, стихал к вечеру шум, слышался с мечетей монотонный, тягучий говор муллы, виднелась его фигура в чалме и борода, уставленная вверх:

– Нэ деир молла азанвахти!..²⁰

Утром струги медленно плыли мимо большого прибрежного города. Все в городе четко и ясно – город белый, из белого камня. В море стоит наполовину затопленная башня; за ней, начиная с берега, лежат торчмя и стоят большие плиты с надписями, а что на плитах сечено, никто не разбирает – древнее христианское кладбище. К плитам, отгороженные рядами камней, приткнуты могилы мусульман, виднеются покосившиеся каменные столбы, обросшие мхом, с чалмами каменными. За кладбищем серая мечеть, за мечетью поперек города стена, за стеной круче в гору белые плоские дома, и в глубине узких улиц опять белая стена, также поперек. За ней домики города тянутся в горы. Перед горами две башни белых, на вершинах гор лед. Облака, курчаво копошась, выются, перегоняемые ветром, среди хмурых отрогов.

Сережка стоит пригнувшись, запорожская шапка на затылке – его глаз по-орлиному ушел в глубину улиц белого города. За ним по палубе звон подков и ленивая, как будто волочащая ноги походка. Голос трубой:

– Глянь, атаман!

Сережка оглянулся. Есаул Мокеев Петр тыкал себя в грудь:

– Вишь, батько дал мне золочену цацу...

²⁰ Я зову вас!..

– Знаю, Петра! Хошь быть по чину атаманом, тогда сойду с атаманского места, без спору! Ставай! Нет? Так што надо?

Сережка снова воззрился на город.

– Не то ты говоришь, атаман!

– А што?

– Глянь пуще! Ту красу атаманску черт мохнатой дунул из пистоля, изломил в ей все узорочье... Я таки пихнул его топорिशком.

– Пихнул? Ха, маленько?

– Черт с ним – пал он. А дар атамана изогнул окаянной, не спрямишь век.

– Ото безумной! Да кабы не угодил по бляхе, прожег бы тебя сквозь горец, как Волоцкого!

– Може, и не прожег бы... Вишь, бой я тогда проспал... Рубанул одного, черну бороду с пятнами на роже, да и топор со зла кинул – сечь было некого...

– Ты гилянського хана посек, честь тебе изо всех: лихой боец был хан, наших он положил много!

– Ну, плевать, честь! А вот не гневается ли атаман, что я тогда хмельной мертво дрыхнул?

– Всяк бился, и каждому на долю бой пал... Ты же, говорю, пуще всех. Ой, дурной ты, – уйди-ко, мешаешь только.

– А нет, не уйду! Чуй, атаман, бою мне на долю мало, и вот вишь: этот бы городишко нынче взять да разчем – кумыки близ... От Гиляни мы взад пошли, а горцы метать? Учинил бы я любое Тимофеевичу-то, а? Давай, Сергеюшко! Робята справны, заедино винца шарпанем-кумыки близ... от Гиляни мы взад пошли, а горцы вина не живут... Кои мухаммедовы и не пьют, да купцам вино держат...

– Свербит, Петра, и меня тая ж дума, только боюсь – батько осердится... Сказывал: давать себя будет в подданство шаху, а город тот шахов, и тезики в ем живут...

– Ну, черту в подданство! Шах Москву гораздо любит, бояре да сыщики завсе живут в Ыспогани... с шахом миру у нас не бывать! Помни слово.

– А все ж без батьки как зачинать бой? Охота, право слово, – к ему же не ийти! Спит и пьет...

– Пошто ему сердчать? Полно, Сергеюшко! Коли в городе бобку²¹ найдем, скорее есаулов смерть забудет, а бобка та, что ясырка, може, сыщется баская? Уж я не упущу, голову складу, а не упущу! Ты подумай: чужой город – что вор, у огня взять нече, у вора, коли чего краденого с собой нет, хоть шапка худая сыщется. Так зачинать?

Сверкнуло кольцо в ухе. Сережка кинул о палубу шапку, крикнул, скаля зубы:

– А ну, зачем!

– Гей, робята-а!

По стругам прокатилась дробь барабанов...

3

Вечером в городе догорали пожары. От разрушенных строений вилась и серебрилась пыль. От белого города остались лишь поперечные стены, плиты на могилах да три башни: одна в воде, две у подножия гор, и мечеть. На струги по брошенным сходням казаки тащили вьюки шелковой ткани, скрученные ковры, утварь – серебро и медь. Катили бочонки с вином и бочки с пресной водой. Потускневшие к ночи цвета, голубые, серые, малиновые, иногда оживлялись радостным оскалом зубов, блеском золота и драгоценных камней.

На корме сидели, курили двое седых – Серебряков с Рудаковым. Серебряков сказал:

– К Чечны-острову понесло струги?

²¹ Б о б к а – игрушка.

- Надобно заворотить к Гиляни, да уж что скажет новый атаман – справим путь...
- А город-то ладно пошарпали!..
- Винца добыли, а ино – черт с ним!

На носу струга в мутно-синем стоял Сережка, его голос резал звонкую даль:

- Гей, бабий ясырь не вязать, едино лишь мужиков скрутить!
- Есть, что хрестятся, атаман!
- Хрещеных не забижать, браты-ы!
- Кой смирной – не тронем!

На берегу бубнил голос:

- Робята-а, кинь плаху-у!..

Мокеев Петр стоял, держа в могучей лапе узел, – при луне фараганский ковер отливал блестками.

- Клеть медну с птицей, вишь, сыскал!
- Оглазел ты с бою? Велика птица-т, зри – баба в узле!
- Робята-а, худы сходни – кинь пла-а-ху...
- Чижол слон! Кидай двойной сходень.
- Давай коли – подмоги-и!

Накидали толстых плах. Струг задрожал. Мокеев перешагнул борт.

Не меняя узла в руке, откинув только часть ковра, подошел к Сережке:

- Глянь, атаман!

Сережка оглянулся и свистнул:

- Добро, Петра!

В ковре сидела полуголая женщина. Косы сверху вниз пестрили нежное, как точеное, тело. На правой коленой руке женщины от кисти до локтя блеснул браслет, в ноздре тонкого носа вздрагивало золото с белым камнем. Женщина, качая головой сверху вниз, слезливо повторяла:

- Зейнеб, Зейнеб, иа, Зейнеб!
- Должно, мужа кличет?
- Петра, толмач растолкует, кого она зовет... И, черт боди, где ты уловил такую?
- Хо! Я, атаман, как заметил, что ее на верблюда пихают, кинулся – вот, думаю, утеха Тимофеичу. Крепко за ее цеплялись, аж покрывку с головы сорвали у ее какие-то бородачи. Зрю, много их. Да бегут еще – сабли востры, сами в панцирях. И давай сечь; кто не отскочил, лег! Топор о кольчуги изломил, бил обухом, потом кинул, а с остатку бил что чижолое в руку попало – взял свое... Поцарапали мало, да ништо-о!

- Эх, добро, добро!

Сережка встал на нос струга выше, подал голос:

- Дидо Григорей! Заворачивай струги в обрат к Гиляни-и!
- Чуем, атаман!
- Ге-ей, козаки! Вертай струги-и!

Город, мутно дымящийся туманами пыли и пожаров, разносимых ветром из ущелья гор, казался большим потухшим костром. Над развалинами, зеленоватые при луне, одиноко белели башни да торчала серая мечеть. Из одной дальней башни с вышины кто-то закричал:

- Серкешь!
- Азер, азер!²² – ответило снизу.
- В развалинах еще иногда вспыхивал огонь.
- Серба-а-з шахсевен!²³ – где-то ныло слезно.

²² Огонь!

²³ Солдат, любящий шаха!

Над башнями высоко на горах все ярче разгорались льды, будто невидимый кто-то поливал медленно жидким серебром гигантские гребни. И еще в смутном гуле моря, в стоне, слабо уловимом, в развалинах внизу проговорило четко:

– Вай, аствадз!²⁴

4

Темнело. Рыжий подьячий, обычно приглядываясь ко всему, шел мимо лежащих на земле больших пушек в сторону ворот шахова дворца. Ухмыльнулся, погладил верх пушек рукой.

– Мало от них бою – вишь, землей изнабиты, а пошто без колод лежат, ржавят?

Над воротами, одна над одной возвышаясь, белели тусклеющие от сумрака, раскрашенные с золотом палаты послов и купцов: «сговорные палаты». За палатами и длинным коридором пространных сводчатых ворот – сады, откуда слышался плеск фонтанов; прохладой доносило запах цветов. У начала ворот с золоченой аркой и изречениями из Корана на ней синим по золоту два начальника дворцовых сарбазов в серебряных колонтарях²⁵, с кривыми саблями. Почетные сторожа стоят по ту и другую сторону ворот. Рядом на мраморных постаментах, в цилиндрических, узорно плетенных из латуни корзинах горят плошки, налитые нефтью, с фитилями из хлопка. Серебро на плечах караульных золотеет от бурого отблеска плошек. Бородатые смуглые лица, неподвижно приподнятые вверх, отливают на рельефах скульптуры бронзой, от того караульные кажутся массивными изваяниями.

Рыжий покосился на крупные фигуры персов, подумал: «Что из земли копаны – медны болваны! Беки шаховы!» – и торопливо свернул в сторону от суровых, неподвижных взглядов караула.

Снизу голубоватые, пестрые от золота изречений пилястры мечетей. Верх мечети плоскими уступами тонет в сине-черной вышине. У дверей мечети справа ярко-красный ковер «шустери»²⁶ с грубыми узорами. По углам ковра горят на глиняных тарелках плошки с нефтью – недвижимый воздух пахнет гарью и пылью. Спиной к мечети у дальнего края ковра сидит древний мулла, серый, в белой широкой чалме. За ним к углам ковра, сбоку того и другого, два писца в песочных плащах без рукавов, в голубых халатах: один в белой аммаме²⁷ ученого, другой в ярко-зеленой чалме. В вишневых плащах без рукавов, в черных халатах под плащами, к коврам почтительно подходят мужчины парно с женщинами в чадрах, узорно белеющих в сумраке. По очереди каждая пара встает на песок, стараясь не тронуть ковра. На колени муж с женой встают, держась за руки, встав, отнимают руки прочь друг от друга. Мужчина говорит:

– Бисмиллахи рахмани...

– ...рахим! – прибавляет мулла, не открывая глаз.

– Отец, та, что преклонила колени здесь, рядом со мной, не жена мне больше.

– Нет ли потомства?

– Отец, от нее нет детей.

– Бисмиллахи рахмани.. – говорит женщина.

– ...рахим! – не открывая глаз, прибавляет мулла.

– Тот, что здесь стоит, не желанный мне – хочу искать другого мужа...

– Нет ли от него детей у тебя?

– Нет, отец!

²⁴ Ах, Господи!

²⁵ К о л о н т а р ь – доспехи из металлических досок, связанных металлическими кольцами.

²⁶ От названия города, где делают эти дешевые ковры.

²⁷ Чалма белая, шире обычной; носят ее только ученые.

Мулла открывает неподвижные глаза, говорит строго:

– По закону пророка надо пять правоверных свидетелей о грехах мужа. Без того – твои слова ложь, бойся! – Помолчав и снова закрыв глаза, продолжает бесстрастно: – Бисмиллахи рахмани рахим! Когда муж и жена уходят из дому, не сходятся к ночи и не делят радостей своего ложа, то идут к мечети, платят оба на украшение могил предков великого, всеильного шаха Аббаса йек абаси²⁸ – тогда они не нужны друг другу и свободны.

Пара разведенных встала с земли. Муж уплатил деньги писцу в аммаме ученого, жена – писцу с левой руки муллы, в зеленой чалме. Рыжий подвинулся в сторону, желая наблюдать дальше развод персов, но от угла мечети, мелькнув из синего сумрака в желтый свет огней, вышел человек, одетый персом. На рыжего вскинулись знакомые глаза, и человек, курносый, бородатый, спешно пошел в сторону шахова майдана.

– Пэдэр сэг²⁹, стой, – мешая персидское с русским, закричал рыжий, догнал шедшего к площади, уцепил за полу плаща. – Ведь ты это, Аким Митрич?

– Примета худая – рыжий на ночь! Откуль ты, московская крыса?

– Не с небеси... морем плыл.

– И еще кто из нас сукин сын – неведомо! Мыслию, что ты, Гаврюшка, сын сукин!

– Эх, осерчал! Думал о кизылбашах, а с языка сорвалось на тебя!

– Срывается у тебя не впервой – сорвалось иное на меня, что из Посольского приказу дьяка Акима Митрева шибнули на Волгу!

– Уж это обнос на меня, вот те, Аким Митрич, святая троица!

– Не божись! Не злюсь на то – Волга, она вольная...

– Пойдем в кафу, подъячему с московским дьяком говорить честь немалая.

– Был московский, да по милости боярина Пушкина и подъячего Гаврюшки стал синбирской, стольника Дашкова дьяк.

– Все знаю. Государево-царево имя и отчество в грамоте о ворах пропустил?

– А ну вас... с отчествами-то!

– Ой, уж и всех, Аким Митрич?

– Да, всех, – курносый сердился.

– Ужли и великого государя?

– И великого царя, всея белая и малая Русии самодержца, патриарха, бояр сановитых, брюхатых дьяволов.

– Ой, да ты, в Ыспогани живучи, опоганился, Аким Митрич?

– Чего коли к поганому в дружбу лезешь, крыса!

Шмыгнув глазами в сумраке, рыжий засмеялся:

– Вот осердился! Я сам сильно хаю Москву.

– И царя?

– И великого государя!

– И патриарха?

– Патриарха за утеснение в вере и церковные суды неправые!

– Ну, коли так, пойдем в кафу, о родном говоре соскучил много!

– Давно пора, Акимушка! Чего друг друга угрызать?

– То правда!

Кафа – обширная, под расписной крышей на столбах, кругом ее деревянные крашенные решетки. У входа за решетку на коврике, поджав ноги, сидел хозяин с медным блюдом у ног, между колен кальян. Оба, рыжий и его приятель, входя за решетку, сказали:

– Салам алейкюм!

²⁸ В XVII в. туман персидский равнялся 25 рублям; в тумане считалось 50 абаси. Й е к – один.

²⁹ Сукин сын.

– Ва алейкюм асселям!

Посредине кафы из белого камня фонтан, брызги его охлаждают душный воздух. Около, на коврах красных из хлопка, сидели персы, курили кальян. Ближе к наружным решеткам в железных плетеных цилиндрах, делая воздух пестрым, горели плошки. Убранные в блестки, с нежными лицами, как девчонки, в голубых с золотом шелковых чалмах, увешанные позвонками, с бубнами в руках, руки голы до плеч и украшены браслетами – кругом фонтана плясали мальчишки лет тринадцати-четырнадцати. На поясах у них вместо штанов висели перья голубые, желтые, с блестками мишуры.

Смуглые ноги, стройные, как девичьи, не уставая мелькали, и все больше и больше казалось, что танцуют девочки. Дым кальяна медленно густел, отливая свинцом, уплывал, гонимый прохладой фонтана за решетку в черную даль.

– Винца ба, Аким Митрич!

– Оно ништо, ладно винца, только по моему наряду, того и гляди, не дадут.

– Дадут, крашенные черти!

– Наши московиты хуже их, Гаврюшка!

– А все ж таки худ-лих, да свой!..

Потребовали кувшин вина. Хозяин от входа долго глядел на московских, потом махнул рукой. Мальчик, ставя вино, сказал:

– Хозяин спрашивает: оба гяуры или кто из вас правоверный?

– Скажи, бача, московиты! Вот он пойдет в Мекку, станет правоверным, – рыжий указал на приятеля, а по-русски сказал: – И пошто ты, Аким Митрич, вырядился тезиком?

– Дело мое...

– Поедем в Москву, придется киндяк таскать?

– Таскай! Мне и в шалах с чалмой ладно.

– О родном соскучил, ой, ладно ли?

– Чуй, крысий зор? Будто не знаешь, что, явясь в Москву, я прямо попаду на Иванову, на козло к Грановитой палате, и царь с окошка будет зреть мою задницу! Велик почет царя видеть, да только глазами, не задом... Здесь вольно: какую веру хошь исповедать, запрету нет, книгу чти, какая на глаза пала. А в Москве?

– Да... не божественно чтешь, гляди, еретиком ославят и... сожгут...

– Здесь же будь шахсевеном³⁰, в вере справляй намаз, ведай две-три суры из Корана, и не надо всякому черту поклоны бить...

– А тут на стрегу шаху не пошел, на майдане брюхо вспорют и собакам кинут!

– Будь шахсевеном, сказал я, выйди раз-два в год – пошто не выйти, даже людей поглядеть?

– Каково живешь-то, Акимушко?

Бывший дьяк размяк от вина, но еще не доверял подьячему.

– Ты, Гаврюшка, здесь не по сыску ли? Боярин Пушкин хитер, как сатана, не гляди, что видом медведь: бойких служилых в сыск прибирает, а нынче время такое, что сыщики плодятся!

– Не, я с тайным приказом, учет веду государевым товарам...

– Не терплю сыщиков! Сыщик едино, что и баба лиходельница, блудом промышляет, противу того сыщик.

Бывший дьяк не заметил, что рыжий поморщился.

– Живу ладно. Дьяческая грамота здесь не надобна. Я промышляю ясырем. Пойдем коли до меня?

– Ой, друг, пойдем! – вскинулся рыжий.

³⁰ Любящим шаха.

Черный воздух бороздили мелкие молнии, будто в воздухе висели серебряные неводы: везде летали крупные светляки. Пошли мимо каф и лавок. На шаховом майдане горели плошки и факелы, копошились бородатые люди; иные посыпали песком и щебнем майдан, а кто поливал из ведер майдан водой – трамбовали.

– То от конского праху?

– Да... без пыли чтоб. Выйдет, должно, тут шах теши всякие творить, тогда робят из каф созовут плясать перед шаха, змей огненных селитренных летать пустят по майдану... Музыку, что коровы режут, трубы затрубят...

– Вот этого я еще не видал, Акимушко!

– Узишь – поживешь...

По узким улицам, забредая иногда в жидкий навоз, в сумраке, особенно черном от множества летучих светляков, пришли к воротам одноэтажного плоского дома. В доме горели плошки, окна распахнуты. Светляки, залетая в окна, меркли; вылетев на улицу, долго тускло светили, потеряв прежний блеск. В узких каменных сенях в углу горел факел; по-персидски на стене висела надпись: «Посетивший дом наш найдет радость». Дом не запирался. В первой от сеней комнате, застланной на полу красными «шустери», на белых стенах висели плетки, и тут же на крючьях в чехлах по нескольку в одном торчали кинжалы, ножи и ножички, поблескивая от огня плошек на глиняных тарелках у стен. Висели щипцы, щипчики, связки костяных иголок. В углах рядом с горящими плошками на табуретах, резных и черных, стояли бутылки с голубыми и розовыми примочками.

– Уж не лекарь ли ты, Акимушко?

– Много любопытствуешь! Не соскучал бы я, Гаврюшка, о родном русском – вовеки не показал тебе дом.

– Опять сердисься? Норов мой таков – все знать.

Прошли в другую комнату. Тут на таких же ярких «шустери» с подушками в пестрых грязных наволочках, раскиданных в беспорядке среди дымящихся кальянов и плошек, горящих у стен, сидели девочки.

Иные, лежа в коротких белых рубашках, болтали голыми ногами, посасывая кальян, иные возились с тряпками, крутя подобие кукол, некоторые, прыгая по подушкам и ковру, с визгом ловили залетающих в окна светляков. Две смуглых дразнили зеленого попугая в медной клетке на тумбе деревянной в углу – не давали попугаю дремать, водили пером по глазам; птица, ловя клювом перо, сердито картавила:

– Пе-едер сухтэ!

– Вот те, гость дорогой, тут вся честь!

– За здоровьем, Акимушко, обучил бы ты их хором к этому виду сказывать мусульманскую суру! – посмеялся рыжий.

Курносый дьяк был серьезен, он обошел всех лежащих на подушках, одной сказал:

– Принеси воды!

Девочка кувырнулась с подушки, юркнула бегом и бегом принесла кувшин с водой.

– Обмойся! – строго сказал хозяин.

Также по-персидски прибавил, махнув рукой:

– Играйте!

Потянул рыжего за рукав киндяка, сказал московским говором:

– Ляжь, Гаврюха!

Рыжий, пригибаясь к полу, ворчал:

– Ой, ой! Обусурманился, Аким Митрич: ни стола, скамли, ни образа, – рожу обмотать не на што!

Хозяин подвинул ему кальян с угольком в чашечке:

– Штоб те стянуло гортань, родня, – кури!

– Знаю теперь, Акимушко, какой ты лекарь!
– Кури, сатана крысья!
– Накурился! А знаешь ли, ссуди мне девчонку, в обрат верну скоро! Энтим промышляешь – зрю?..
– Девка денег стоит! Сам я под Бакой у шарпальников Стеньки Разина купил недешево товар...
– Самого зрел Стеньку?
– Не, козаки да есаул были. А добирался хоть глазом кинуть на него, не видал!.. Есаул матерой, московский, вишь, стрелец был Чикмаз – удалой парень!
– Где ныне, думаешь, шарпальники?
– Тебе пошто?
– Морем поедем в обрат, чтоб не напороться – беда!
– Сказывали, назад, к Теркам идут...
– Та-а-к, пошли, Дербень взяли... Девку я прошу не навсегда...
– Даром все одно не дам!
– Ну, черт! А какие указы царевы по ясырю?
– Я вот нарочито списал, еще когда в Посольском приказе был, хо-хо! Указ тот для памяти вон где висит... Я кизылбашам чту его, толмачую тезикам московские запреты, ругают много царя с боярами... Не знал коли? Чти!

Рыжий быстро встал, глаза забегали по стенам. Подошел ближе к стене, двинул пылавшую плешку, прочел вслух крупно писанное на желтом, склеенном по-московски листке:

– «Приказать настрого, чтоб к шахову послу на двор никакие иноземцы не приходили и заповедных никаких товаров, и птиц, и кречетов, и соколов, и ястребов белых, не приносили и татарского ясырю крещеного и некрещеного, жонок, девок и робят, не приводили, да и русские служилые и жилецкие люди к шаховым и посольским людям не приходили ж и вина и табаку не курили, не покупали и даром не пили, огней бы на дворе посольские люди в день и ночь не держали».

– А знаешь что, Аким Митрич?
– Что, Гаврюшка?
– То приказ тайный стрелецкому голове, и ты тайную грамоту шаховым людям чтешь и тем чинишь раздор между величеством шахом и великим государем! И теперь девку мне должен безотговорно отпустить, иначе доведу я на тебя большим боярам и царю-государю доведу же!
– Чую, что сыщик ты!
– Что с того, что сыщик?
– Тьфу, сатана! И завел же я, худоумной, волка в стойло, вином поил... Ну, коли ошибся я, давай торги делать. Только совесть твоя гнилая, скажешь, не исполнишь.
– Ежели дашь девку – сполню! Вот те святая троица!
– Выбирай и убирайся!

Рыжий вышел медленно и осторожно. Бывший дьяк сказал себе:

– Коего сатану спугался я? Черта со мной царь да бояра сделают тут!
Ухмыльнулся, спрятав усы под маленький нос, кинулся к открытому окну, закричал:
– Чуй, Гаврю-у-шка-а!
– Ну-у? – донесся вопрос из тьмы.
– Одно знай. По шаховым законам, ежели девка помрет или что случится с ей худое и я привяжусь к тебе, то палач тебе сунет пальцы в ноздрю-у!
– О, черт! Время к полуночи, а ты держишь.

Рыжий вернулся, сунул на порог девочку, она радостно встряхнулась, как птица, посаженная на подоконник.

Курносый отошел от окна. Его богатство беспорядочно разметалось на подушках. Он стал курить, подумал, гася плошки и запирая окна: «Твои бояра ништо мне сделают, крыса. Обрежусь, иное имя приму, заведу жен – шах правоверных не выдает, там хоть в стену башкой дуй!»

5

Рыжий поднялся в свою каменную конуру, сел против окна. Не зажигая огня, нащупал бумагу, перо, чернила, стал курить. Его каменный ящик лепился над плоскими террасами. Дом, где жил подъячий, стоял на высоком плоскогорье, перед домом город лежал внизу. Когда шел подъячий, луна стояла за горами сбоку, теперь же месяц, выйдя, встал вдоль горных хребтов. Его свет на всю шахову столицу накинуд светлую чадру. Рыжий глядел с вышины на клинообразный город, положенный как узорчатые ножны гигантского прямого меча, усаженные алмазами блеска фонтанов во дворах и кафах, редкими пылающими огоньками плошек и факелов.

Рыжий любил глядеть на город. Недоступный ему, город будил сладостные мысли о женщинах Востока. Но знал, что эти женщины для него недостижимы.

«Курносому Акимке веру – что портки сдеть. Меня от чужого претит...»

Ближе всего к конуре подъячего высокие ворота с часами, украшенные золотом. Знал рыжий, что часы заводит мастер из русских, что он же огонь за стеклом в светелке с часами зажигает ночью и гасит днем. За воротами в мутных узорах пестрых красок ряды и лавки купцов – армян, бухарцев и персов. Еще дальше справа и слева верхи каф круглые – золотыми змеями ползут по ним украшения. Там, где кончаются кафы, немного вперед, снова ворота; арка ворот без затвора, но поперек снизу их отливает сизым блеском железная цепь; она мешает конной езде на шахов майдан. За ровным и пустым поздней ночью шаховым майданом золоченые ворота в сады и дворы шаха. У ворот по ту и другую сторону сверкают пятна колоннарей караульных беков. Их обнаженные сабли горят, как литое стекло. По бокам караульных с постаментов крупные бурые точки огней... Лунный свет яснеет, ширится, мутно-серебристая чадра сдернута с Исфагани. Свет луны, разливаясь в загороженных гранитом и мрамором фонтанах, бродит отсветами по узорчатым дверям, по расписным аркам, пестрит яркой синевой на очертаниях влажных от водяной пыли платанов, кипарисов. Тупые ломанные тени лежат по узким улицам.

«Гаврилка, буде! Ум, гляди, потеряешь в бусурмании, против того как дьяк Акимко...»

Рыжий задвигался, выколотил трубку, вынул кресало, добыл огня и свечи зажег. При огне упрямые мысли не оставляли подъячего. Вон у огня свечи за чернильницей много раз читанная арабская книжка, писанная на пергаменте. В ней ученый толмач перетолковал на арабский с какого-то иного языка поучение женщинам Востока: «Как быть всегда незаменимой господину своему и располагать своим телом, бесконечно зажигая кровь многоженца любострастием». В книжке были сделанные в красках великим искусником соблазнительные куншты. Рыжий закурил снова, куря, припоминал книжку, глядел на город, и ему казалось, что в белом домике, где алмазами отсвечивают фонтаны, собрались в тонких одеяниях жены, прилипли к седому персу в зарбафном халате... Счастливый многоженец читает им поучение «о бесконечных утехах любви» и водит пальцем по соблазнительным кунштам. Подъячий, как в полусне, протянул руку к арабской книжке, чтоб еще раз оглядеть колдовские страницы, – упала горящая свеча, приклеенная к столу, обдавая огнем пальцы. Рыжий отдернул руку, сказал:

– Так те и надо!.. Бодет Гаврюху бес!

Успокоясь немного, стал писать:

«Жонки тезиков, боярин милостивец Иван Петрович, ходют, закрывшись в тонкие миткали, на ногах чулки шелковые альбо бархатные. У девок и жонок штаны, а косы долги до пояса, ино и до пят. Косы плетут по две, по три и четыре. Иножды в косы вплетают чужое

волосье, в ноздрах кольца золотые с камением и с жемчюги, а платье исподне – кафтаны узки. По грудям около шеи и по телу на нитках низан жемчюг».

– Ой, еще не отлепился бес – мутит! Бабье на ум ползет. Ну коли дай о звере испишу.

«А милостивец боярин государев большой Иван Петрович, есте тут величества шаха город Фарабат, там, в том городе, послышал я, кормятся шаховы звери в железных клетях: слоны и бабры. А бабр зверь, боярин Иван Петрович, длиной больше льва, шерстью тот зверь – едино что темное серебро, а поперег черное полосье и пятна. Шерсть на бабре низка, у того зверя губа что у кота и прыск котовой. Тот лишь прыск по росту: бабр сможет, боярин милостивец, сказывают, прыснуть сажень с пять. Видом тот зверь черевист гораздо, ноги коротки, голосом велик и страшен, а когти что у льва».

– Эх, на Москве бы тебе, Гаврюшка, за такое письмо кнutoбойство в честь было!..

Рыжий встал, набил еще раз трубку и, покуривая, долго ходил по комнате, отодвинул дальше арабскую книжку, закрыл ее колпаком. От запахов ночных, сырых и цветочных, завесил нанковой синей занавеской окно. Сказал:

– Вот те все! – отодвинул исписанные листы, взял чистый, сел и написал особенно крупно и четко:

«Боярин милостивец Иван Петрович, сея моя отписка к тебе, а зачинаю с того, что величество шах в Ыспогань оборотил и на стрете его были все тезики, армяня, греки, мултанеи³¹, жидовя. Я тож был, потому не мочно не быти – казнят, не спрося, какой веры! Город Ыспогань, боярин милостивец, стоит меж гор, все едино как в русле каменном».

– Эх, не так зачинаю! Ну, да испишу, узрю – ладно ли. Нынче о ворах неотложно...

«Боярин Иван Петрович! Вор Стенька Разин с товарищи разнесли по камению шахов величества город Дербень, и в том городе, послышал я от сбеглецов, которые утекли с Дербени в Ыспогань, воры убили шахова большого бека Абдуллаха с братом, сыном и дочь того бека, зовомую Зейнеб, поймали ясыркой. Шаху то ведомо, нет ли, не знаю!.. Допрежь оного воровства Стенька Разин с товарищи и с Сергунькой Кривым, сойдясь на Хвалынском море, посекали суды гилянского хана и сына ханова в полон увели, а хана убили. Посеча топоры, суды все сокрушили, едино лишь три бусы урвались в целости, и то с малыми людьми. Еще, боярин милостивец, сыскался тут синбирской дьяк князя стольника Дашкова, что допрежь служил в Посольском приказе на Москвы и по государеву-цареву указу смещен в Синбирск без кнutoбойства за подложный лист... И тот дьяк, Акимко Митрев, сын Разуаев, писал о ворах же Стеньке Разине отписку стольника Дашкова во 175 году великому государю, да в той отписке имя государево с отчеством великим пропустил, а повелено было его сыскать за то воровство и на Москву послать. Он же, от кнutoбойства чтоб, бежал в шаховы города и нынче в Ыспогани ясырем, девки малые промышляет. Про великого же государя, святейшего патриарха тож говорит скаредно хулительные слова, послушать срамно! Да еще, боярин Иван Петрович, между государем-царем и великим князем всея Руси и величество шахом тот сбеблый вор, дьяк Акимко, чинит раздор и поруху. Исписал тот вор Акимко государев приказ стрелецкому головы, – имя головы не упомяну, а был тот голова у караула ставлен на шахова посла дворе на Москвы, – и тот исписанной тайной приказ я зрел очима своима: висит исприбитой к стене его хижи в Ыспогани... Тот тайной лист вор Акимко, чтя тезикам, толмачует, и бусурманы ругают, плюют имени великого государя всея Руси... Окромя прочих дел укажи, боярин милостивец, как ловче уманить ли альбо уловить вора Акимку за тое великое, мною сысканное, воровство?»

³¹ Му л т а н е и – индусы.

6

На зеленеющей, тихо дышащей воде пленный корабль гилянского хана расцвели с бортов коврами. На корабль доносит от влажных брызг соленым. С берегов, когда теплый ветер зашалит, на палубе запахнет душно олеандром. На корабле спилили среднюю мачту, сломали переднюю стену ханской палаты с дверями, открыли широкий вид на палубу. Разрушения в углах украсили свешенными коврами. На ближних скамьях гребцов разместились музыканты с барабанами, домрами и дудками.

Разин, наряженный в парчовый кафтан, обмотал сверху запорожской шапки голубую с золотом чалму. Княжну вырядили ясырки-персиянки в узкий шелковый халат с открытой грудью – по голубому золотые травы, – надели ей красные шелковые шаровары, сандалии с ремнями узорчатого сафьяна и шелковые синие чулки. На голую грудь распустили хитрый узор из ниток крупного жемчуга с яхонтами, блестящими на нежном теле каплями крови; прозрачную чадру из голубой кисеи Разик сорвал и бросил, когда садились в челн: открылись черные косы, подобранные на голове обручами, и голубая с золотом шапочка с подвесками из агатов. В челне, устланном коврами, подъехали к ханскому кораблю; на коврах подняли их гребные ярыжки, перенесли в палату на ханское возвышение. Ступени возвышения были поломаны, их тоже скрыли коврами вплоть до передней стены на палубу.

Там, где села княжна, слева от атамана дымился узорчатый кальян, но она к нему не притронулась. Разин не курил табаку.

У ног атамана на коврах сели Лазунка, Серебряков и Рудаков Григорий – оба седые, без шапок. Сережке атаман указал место справа от себя. Перед атаманом слуги-казаки поставили большую серебряную братину с вином. Лазунка черпал для него ковшиком вино, наливая в золотую чару. Разин пил, часто отряхивая от брызг курчавую бороду. Подносил княжне, она боялась не пить: пила мало и сидела, потупив таящие испуг, темные под ресницами глаза. По приказу атамана Лазунка разливал вино в чаши из бочонка, давал пить есаулам.

Позже всех подошел хмельной с утра от радости Мокеев Петр в даренном Разиным золоченом колонтаре. Мокеев сел рядом с Рудаковым, от доспехов пошли кругом золотые пятна.

– Только не обнимайся, козак! – сказал Рудаков Мокееву.

– А што, дидо, ежели обойму?

– Тогда мне замест пира смерть! Ты и так чижолой, да еще в доспехе – беда!

– Хо-хо-хо! – захохотал есаул.

Разин сказал:

– Люблю Петру! Выпил много, да еще пей, чтоб развеселилась моя княжна, ясырка твоя. За здоровье!..

– Э, батько! Пошто не пить? – Позвякивая пряжками колонтаря, Мокеев с чашей в руке тяжело встал, обливая вином седину Рудакова, и крикнул: – За Степана Тимофеича! За радость его светлую! Кто не пьет, того в море...

Когда выкрикнул Мокеев, барабаны музыкантов рассыпали дробь, загудели трубы. Атаман крикнул:

– Музыканты, тихо! Лазунка, сыграй то, что уклала твоя боярская голова про мою княжну. – Разин склонил перед княжной голову, дал ей из своей чаши глотнуть вина и сам выпил.

– Не занятно будет, батько! Голос мой что козла на траве.

– Играй, пес!

Лазунка, не вставая, тихо запел:

Эй, не плачь, не плачь, полоняночка!

Я люблю же тебя и порадую,
Обряжу красоту в расписной оксамит,
Вошвы³² с золотом!
На головушку с диамантами
Подарю волосник самоцветов-цвет...
Во черну косу враный жемчуги —
Шелковый косник со финифтями-перелифтями.

Все похвалили, Разин сказал:

— Пей, Лазунка, и еще играй — люблю!

Лазунка, встав, поклонился атаману, выпил чару вина, потрянул черной курчавой бородой и кудрями, негромко, топая ногой по ковру, запел:

У хозяйюшки у порядливой,
У меня ли, молодешеньки!
Ой, в кике было во бархатной
С жемчугами да с переперами³³ —
Там под лавицею во большом углу
Лиходельница пестро-перо
Мал цыплятушек повысидела,
А жемчужинки повыклевала.
Нынче не во чем младешеньке
На торг ходить — в пиру сидеть,
Свет узорочьем бахвалиться.

Атаман хотел было, чтоб еще пел Лазунка, но, никого не слушая, Мокеев могуче забубил:

— Пью за батьку нашего и еще за шемаханскую царевну-у!

Разин засмеялся:

— Ото подлыгает Петра! В Дербени княжну взял, а Шемаху помнит, высоко она в горах, есаул, Шемаха.

— С тобой, батько, горы не горы. До небес, коли надо, дойдем!

— А ну, пьем, Петра!

Стряпней к пиру заведовал казак, самарский ярыжка Федько. Слуги под его присмотром обносили гостей — казаков, сидевших с музыкантами на скамьях гребцов и на палубе кормы, — блюдами жареных баранов, газелей, кусками кабана. Газель и кабан биты в шаховом заповеднике меж Гилянью и Фарабатом. Там на косе, далеко уходящей в море, Разин велел вырыть бурдюжный город. Теперь там стояли струги, кроме тех четырех, что плавали с атаманом; там же держали ясырь, взятый у персов, богатства армян и бухарцев. Большая часть казаков караулила земляной город. За атамана в нем жил яицкий есаул Федор Сукнин.

Разин приказал:

— Тащите, соколы, старца-сказочника! Пушай сыграет нам бувальщину.

— Эй, дедко!

— Где Вологженин?

— В трюму ен — спит!

— А, не тамашитесь, робятки! Где тут сплю у экого веселия?

³² В о ш вы — вшитые куски дорогой материи.

³³ П е р е р ы — решетки из золота и жемчугов.

В казацком длиннополом кафтане, в серой бараньей шапке с кормы на ширину палубы вышел седой старик с домрой под мышкой, поясно поклонился атаману и, сняв шапку, зата- раторил:

– Батюшку, атаманушку! Честному пиру и крещеному миру!

Сел прямо на палубу лицом к атаману, уставил на струны домры подслеповатые глаза, запел скороговоркой:

Выбегал царь Иван на крыльцо,
Золоты штаны подтягивал,
На людей кругом оглядывал,
Закричал страшливым голосом:
«Гей, борцы, вы бойцы, добры молодцы!
Выходите с Кострюком поборотися,
С шурьем-от моим поровнятися!»
Да бойцов тут не случилось,
А борцов не объявилось,
И един идет Потанюшко хроменькой,
Мужичонко немудренькой.
Ой, идет, идет, идет, ид-ет!
Ходя, с ножки на ножку припадывает,
Из-под рученьки поглядывает:
«А здорово, государь Иван Васильевич!..»

– Эй, дайте вина игроцу старому!

Певцу поднесли огромную чару. Он встал, выпил, утер бороду и поклонился. Сев, настроил домру и продолжал:

«Укажи, государь, мне боротися,
С Кострюком молодцом поровнятися.
Уж коль я Кострюка оборю,
Ты вели с него платье сдеть...»

– Гей, крайчий мой, Федько!

– Тут я, атаман!

– Что ж ты весь народ без хмельного держишь! Пьют атаманы – козаки не должны отста- вать!

Открыли мигом давно выкаченные бочки с вином и водкой, казаки и ярыжки волжские, подходя, черпали хмельное, пили.

Среди казаков высокий, костистый шагал богатырского вида стрелец Чикмаз – палач яйцких стрельцов. С ним безотлучно приземистый, широкоплечий, с бронзовым лицом, на лбу шрам – казак Федька Шпынь.

Оба они пили, обнимались и говорили только между собой.

– Вот соколы! Люблю, чтоб так пили.

Разин, как дорогую игрушку, осторожно обнимал персиянку. Обнимая, загорался, тянул ее к себе сильной рукой, целовал пугливые глаза. Поцеловав в губы, вспыхнул румянцем на загорелом лице и снова поцеловал, бороздя на волосах ее голубую шапочку, запутался воло- сами усов в золотом кольце украшения тонкого носа персиянки. Уцепил кольцо пальцами, сжав, сломал. Золото, звякнув о край братины, утонуло в вине.

– Господарь... иа алла! – тихо сказала девушка.

– Наши жены так не носят узорочье! А что же, старый? Гей, играй буюальщину!

Старику еще налили чару водки; он, кланяясь, мотался на ногах и, падая, сел, щипля деревенеющей рукой струны домры, продолжал:

Ище первую пошибку Кострюк оборол,
Да другую, вишь, Потанюшко!
Он скочил Кострюку на високу грудь,
Изорвал на борце парчевой кафтан
Да рубашку сорвал мелкотравчату...

– Эх, соколы! Ладно, Петра, – добро, пьем!.. Вбудили меня от мертвого сна.

В вечерней прохладе все шире пахло олеандром, левкоем и теплым ветром с водой. Дремотно, монотонно с берега проплыл четыре раза повторенный голос муэдзина:

– Аллаху а-к-бар!³⁴

Голубели мутно далеко чалмы, песочные плащи двигались медленно, будто передвигались снизу песчаные пласты гор, – мусульмане шли в мечеть.

Слыша голос муллы, зовущий молиться, персиянка сжалась, поникла, как бы опасаясь, что далекие соотечественники увидят ее открытое лицо.

На середину палубы вышел Чикмаз, взъерошенный, костистый и могучий, заложив за спину длинные руки, крикнул:

– А ну, пуцай меня кто оборет да кафтан сорвет!

Зная Чикмаза, молчали казаки; только его приятель Федька Шпынь протянул руки:

– Да я ж тебя, бисов сын, нагого пущу!

– Хо! – хмыкнул Чикмаз. – Знать, во хмелю буен? Ну, давай!

Взялись, и Чикмаз осторожно разложил на палубе Шпыня.

– Будет?

– Буде, Чикмаз!

Кое-кто из казаков еще пробовал взяться, Чикмаз клал всякого шутя.

Разин сказал:

– Вот это борец! Должно мне идти?.. Чикмаз – иду!

– Не, батько, не борюсь.

– Пошто?

– Не по чину! Зову козаков да есаулов – пуцай за тебя идет Сергей.

Сережка махнул рукой и, зачерпнув ковшом из яндовы вина, сказал:

– В бою – с любимым постою, в борьбе – я что ребенок!

– А ну, Мокеев? Силен, знаю, да оборю и его!

– Правду молил Сергеюшко: в бою хитрости нет, до борьбы, драки и я не свычен!

Казаки на слова Мокеева закричали:

– Эй, Петра, пуцай не бахвалит Чикмаз!

– Вот разве что бахвалит!

– Выходи, бывший голова! – позвал Чикмаз.

– Кто был – забыл, нынче иной! А ну коли?

Тяжелый, сверкающий в сумраке доспехами, шатаясь на ногах, Мокеев подошел к борцу. Чикмаз расправил могучие руки, а когда взялись, Мокеев потянул борца на себя – у Чикмаза затрещало в костях.

– Ага, черт большой! С Петрой – не с нами! – закричали казаки, обступив.

³⁴ Бог велик!

Мокеев неуклюже подвинул Чикмаза вправо, потом влево и, отделив от палубы, положил; не удержавшись, сам на борца упал.

Крякнул Чикмаз, вставая, сказал:

– Все едино, что изба на грудь пала!

– Ай, Петра! Го-го, не бахваль, Чикмаз!

– Силен, да пожиже будешь! – кричали казаки.

– Силен был, а тут как теленок у быка на рогах!

– Ну, еще, голова!

– Перестань головой звать! Перепил я – в черевах булькает.

– Ништо-о! Только доспехними, не двинешь тебя, силу твою он пасет.

Казаки подступили, сняли с Мокеева колонтарь.

– Ни черта сделает, – легче еще тебе, Петра!

– Оно, робята, впрямь легче.

И снова Чикмаз был положен. Вставая, сказал (слова звучали хмельной злобой):

– Не чаял, что его сатана оборет. Черт! Как гора!

Бороться было некому. Мокеев, взяв колонтарь, ушел к атаману. А там сверкнуло кольцо в ухе, вскочил на ноги Сережка, княжна вздрогнула от страшного свиста, закрыла руками уши.

– Помни, робята, сговор!

На крик и свист Сережки казаки вышли плясать. От топота ног задрожал корабль, заплескалась вином посуда, взревели трубы, разнося отзвуки по воде. Казалось, вместе с медными прыгающими звуками заплясали море и берег. Плясали все, кроме Разина и есаулов, даже старик Вологженин, вытолкнутый толпой, бестолково мотался на одном месте, тыча на стороны домрой. В море летели шапки. Сережка снова свистнул, покрыв звуки музыки, топот ног. Тогда на скамьях по бортам вспыхнули зажженные ярыжками факелы. При огне от пляшущих ломались тени, опрокидываясь в ночное синедышащее море. Плясали долго, атаман не мешал. Когда кончили плясать, Разин, подняв чашу, крикнул:

– Гей, соколы! За силу Петры Мокеева все пьем!

– Пьем, батько!

– За Петру-у!

Разин позвал:

– Чикмаз, астраханец!..

– Тут я, батько!

– Иди, с нами пей!

Чикмаз подошел. Разин, чокаясь и обнимаясь с Мокеевым, сказал Чикмазу:

– Знаю! Ловок, парень, и ядрен, без слова худа, только сила Петры не наша человечья...

Чья – не ведаю... Но не человечья его сила!

Чикмаз выпил ковш вина и, утирая сивую всклокоченную бороду, сказал:

– Есть, батько, во мне такая сила, какой ни в ком нет!

– Пей, парень, еще ковш и поведай, какая та сила?

Чикмаз выпил другой ковш, снова утер рукавом кафтана бороду, сказал:

– Сила бою моего, батько, иная, чем у того, кто с тобой ходит!

– Не вразумлюсь!

– Да вот! Ежели на бочку сядет – ударю, богатырь падет, не высидеть! Пушай даже в кафтане сядет кто...

– Бахвалишь и тут! – сказал Мокеев. – Я нагой усижу, от разе што брюхо гораздо водяно.

– Усидишь, пять бочонков вина ставлю!

– Где у ты бочонки?

– Добуду! Голову на меч, а добуду у бусурман.

– Эх, ты! Стрелец, боец!

Мокеев пошел на палубу. Ярыжки с факелами обступили его. Он разделся догола и в ночных тенях при свете факелов казался особенно тяжелым с отвислым животом, весь как бронза. Чикмаз, особенно торжественный, будто палач перед казнью, крикнул:

– Козаки! Сыщите отвалок для бою. С Петры выиграю вино – будем пить вмести.

Принесли отвалок гладко струганного бушприта в сажень.

– Сколь бить, голова?

– Черт!.. Не зови головой, сказывал тебе – иной я. Бей пять! Высижу больше, да, вишь, черева повисли, и в брюхе вьет.

Бывший палач отряхнулся, одернул кафтан, но рукавов не засучал. С ухваткой, ведомой только ему, медленно занес над Мокеевым отвалок и со свистом опустил.

Мокеев крикнул:

– Отменно бьет! Не как все, едрено, дьявол! – И все же вынес, не пошатнувшись, пять смертельных для другого человека ударов.

– Сотник Петр Мокеев выиграл! – с веселым лицом крикнул Чикмаз. – Робята! Пьем, с меня вино-о... – захохотал пьяно и раскатисто, кидая отвалок.

Мокеев встал с бочки, охнул, пригнулся, шарил руками, одевался медленно и сказал уже протрезвевшим голосом, как всегда неторопливо и кротко:

– Ужли, робята, от того боя Чикмазова я ослеп?

Ликующие победой Мокеева пьяные казаки, помогая надевать ему платье, шутили:

– Петра! Глаз отмигается.

– Добро бы отмигаться, да черева огняны, то со мной впервые!..

– Побил Чикмаза! Молодец, Петра, пьем! – громко сказал захмелевший атаман.

– Нет, батко, я проиграл свой зор.

– Что-о?

– Да не зрю на аршин и ближе...

– То злая хитрость Чикмазова?

Разин, вскочил, и страшный голос его достиг затихшего берега:

– Гей, Чикмаз, ко мне-е!..

– Чую, батко! – Чикмаз подошел.

– Ты пошто окалечил моего богатыря? Не оборот! Так зло взяло? Говори, сатана, правду!

– Не впервой, батко, так играем! По сговору, не навалом из-за угла и на твоих очах...

– Ну, дьявол, берегись!

Глаза Разина метнули в лицо Чикмазу, рука упала на саблю. Чикмаз пригнул голову, исподлобья глядя, сказал, боясь отвести глаза от атамана:

– Пуцай, батко, Петра скажет. Велит – суди тогда!..

– Гей, Петра!

Мокеева казаки, держа под локти, привели к Разину.

– С умыслом бил тебя Чикмаз? С умыслом, то конец ему!

– Не, батко! Парня не тронь. С добра. Ты знаешь, я сел и сам вызвался, а бил деревиной, как все...

Разин заскрипел зубами:

– Цел иди, Чикмаз, но бойся! Эй, нет ли у нас лекаря?

Подошел черноусый казак самарский, распорядчик пира:

– Тут, Степан Тимофеевич, в трюму воеет ученый жид, иман у Дербени, скручен, а по-нашему говорит, сказывал, что лекарь ен...

– Кто же неумной ученых забирает? У меня они будут в яме сидеть? То не дело!

– Я велел его скрутить, – ответил Сережка.

– Открутите еврея, ведите сюда: за род никого не забираю, за веру тоже!

В длинном черном балахоне, со спутанными пейсами, в крови, грязный, без шапки, подошел взъерошенный еврей, поклонился, низко сгибаясь.

– Чем потребен господарю?

Разин приказал:

– Дайте ему вина! Еды тож.

Еврею дали блюдо мяса, кусок белого хлеба и кружку вина. Мясо он не стал есть, выпил вино, медленно сжевал хлеб.

– Теперь сказывай – что можешь?

– Господарь, прошу меня не вязать... Бедный еврей никуда не побежит, честный еврей! Я могу господарю хранить и учитывать его сокровища: золото, камни еврей понимает лучше других.

– Хранители, учетчики у меня есть – мне надо лекаря.

Еврей качнул головой:

– Господарь атаман, и лекарь я же...

– Ну вот, огляди его! – Разин показал на Мокеева, сидевшего с опущенной головой. – У него избиты черева, – оттого ли он потерял зрение? Скажи!

– Надо, господарь, чтоб козак был голый.

Мокееву помогли раздеться. От груди до пупа его живот был синий. Еврей ощупал Мокеева, приложил ухо против сердца, сказал:

– Оденся!

– Ну, что скажешь, лекарь?.. Надолго или навсегда он потерял зор?

– Господарь, бог отцов моих Адонай умудрил меня, ему я верю, его почитаю и слушаюсь, он повел меня в Мисраим³⁵, и там по книгам мудрецов учился я познавать врачевание. Эллины, господарь, учили, что около пупка человека – жизнь, называли то место солнечным, от схожего слова: солнце – жизнь...

– Запутанно судишь, но я слушаю, говори, как можешь.

– Древние мудрецы Мисраима учили тоже, что около пупка жизнь человека и смерть. Они называли это иным словом: созвездие – в том месте сплетаются жилы. Если те жилы рассечь мечом, жизнь исчезнет.

– Я и без тебя знаю, что посечь черева смертно.

– Не гневайся, господарь. Поранить те жилы или избить много – опас от того большой. Есть жилы в том месте, ведающие слух, иные ведают зрение... У козака порвана жила зрения...

– Берешься ли ты врачевать есаула?

– Врачевать, господарь, берусь! Много ли будет от врачобы моей, не знаю, да поможет мне бог отцов, берусь, атаман!

– Иди с ним в трюм. Требуй, что надо. Поможешь есаулу, я тебя награжу и отвезу, куда хочешь, на свободу... Мое слово крепко!..

– Повинуюсь господарю и благодарю!

– Гей, слушайтесь еврея! Чего потребует, давайте! Где ты, Федор!

– Чую, батько!

– Ты все sprawy знаешь, проводишь учет и порядок, – отведи Мокеева с евреем в чистое место, в трюме есть такое, дай еврею умыться и белую одежду дай!

Еврей поклонился атаману:

– И еще много благодарю господаря!

³⁵ Египет.

Атаман с княжной, есаулами и казаками уплыл с ханского корабля на атаманский струг. На корабле остались у караула пять человек казаков, среди них Чикмаз. В трюме Петр Мокеев с лекарем-евреем да в услугу им два ярыжки. В синей, как бархат, мягкой и теплой тьме огней на палубе не зажигали. На корме с пищалью высокий, отменно от других, Чикмаз, старавшийся держаться в одиночку; остальной дозор на носу корабля. Казаки, приставив к борту карабины, усевшись на скамьи гребцов, курили, рассказывая вполголоса про житье на Дону и Волге. Один Чикмаз привычно и строго держал караул, возвышаясь черной статуей над бортом. Корабль тихо пошатывали вздохи моря. В синем на воде у кормы скользнуло черное. Чикмаз крикнул:

– Гей, заказное слово! Или стрелю!

– Не-е-чай! – ответило внизу.

В борт, где стоял Чикмаз, стукнул крюк с веревкой, вьелся в дерево. По веревке привычно ловко вползла коренастая фигура с трубкой в зубах, пышущей огнем.

– Во, не узнал! Все мекал – куды мой Федько сгинул?

– Пути не боюсь, хоша бы стрелил. – Коренастый, покуривая, встал поодаль, голова на черном широкоплечем теле повернулась на нос корабля.

– Стой ближе... не чую... – сказал Чикмаз.

Коренастый придвинулся почти вплотную, прошептал:

– А ту, досказывай про себя... Я тебе на пиру все сказал...

– Скажу и я! Ведомо ли тебе, Федор, служил я боярам на Москве в стрельцах, от царя из рук киндяки да сукно получал за послуги?

– То неведомо...

– Вот! Перевели в палачи – палачу на Москве дело хлебное: за поноровку, чтоб легче бил, ежедень рубли перепалили...

– Вишь ты!

– Да... Вскипела раз душа, одним махом кнута на козле засек насмерть дворянина, а за тое дело шибнули меня в Астрахань, вдругорядь в стрельцы... В стрельцах, вишь, обидчик был: полуголова, свойственник Сакмышева, коего нынче в Яике утопили, обносчик и сыском ведал, – рубнул я его топориком, тело уволок в воду, башку собаки сгрызли, а гляжу – мне петля от воеводы! Я к атаману... Да зрю, и здесь в честь не попадешь. Сам знаешь: вместях бились с гиланским пашой, Дербень зорили, а все без добра слова... Норов же мой таков: выслуги нет, значит, держи топор на острее. Петруха Мокеев атаману зор застит – силен, что скажешь, в Астрахани его силу ведал, да мы чем хуже его?

– За себя постоим!

– Как еще постоим! Иному так не стоять... Хмелен я был, а во хмелю особенно злой деюсь и не бахвалю – от моей руки, Федор, никто изжил... Людей кнутом насмерть клал неполным ударом... Ядрен Мокеев, да с пяти боев не стать и ему. Атаман в него, что девка, влюблен: вишь, чуть не посек и, знаю, будет в худчем гневе от Петрухиной смерти. Утечи мне надо! Без тебя утечи – в горах пропасть, что гнусу в море; в горах – знаю я – кумыки с тобой водят приятство.

– Ясырь им менял, дуваном делился.

– Тебе за твою удаль тоже не велика от атамана честь.

– Не велика? А забыл в Яике, как и меня чуть не посек?

– Вот то оно... Пили, клялись, надумал утечи. Идешь?

– А ино как? Я только что на берегу двух аргамаков приглядел: уздечки есть, кумычана в горах седла дадут. Свинец, зелье, два пистоля и сабля запасены...

– У меня справлено тоже – пистоль и сабля. Текем, друг? По спине мураши скребут: а ну, как атаман наедет? Мокеев же в худом теле сыщется – беда!

– Куда ладишь путь?

– В Астрахань. Ныне другой, Прозоровской, воеводит, битого полуголову не сыскали.

– Я на Дон к Васе Лавреичу...

– Кто ен?

– Сказывал тебе про Ваську Уса?

– О, того держись, Федор! В Астрахани будешь, сыщи меня: в беде укрою, в радости вином напою.

Чикмаз снял с плеча пицаль, поставил к борту.

– Прости-ко, железная жонка, в Астрахани другую дадут!

Коренастая фигура, царапнув борт, стукнула ногами вниз. Высокая за ней тоже скользнула в челн. Когда черное плеснуло в ширину синевы, на носу дозорный крикнул:

– Э-эй!

– Свой... тихо-о...

– Пошто караул кинули-и?

– Проигран-ное Мо-ке-е-еву ви-но-о добы-ть!

Казаки заговорили, пошли по борту:

– Задаст им Сергей Тарануха – наедет дозор проверить!

– Чикмаз, а иной кто?

– В костях приметной, ты не познал?

– Не, сутемки, вишь...

– Федько Шпынь, козак!

– О, други, то парни удалые – вино у нас скоро будет!..

8

Трубами и барабанным боем сзывались казаки на ханский корабль. Разин сидел с Сережкой и Лазункой, пил вино на ханском ложе. Вошли к атаману Серебряков, Рудаков и новый есаул Мишка Черноусенко, красивый казак, румяный, с густыми русыми бровями. Наивные глаза есаула глядели весело, девичьим лицом и кудрями Черноусенко напоминал Чернорца. Разин сказал:

– А ну, Лазунка, поштвуй гостей есаулов вином.

Лазунка налил ковш вина, поднес севшим на коврах внизу есаулам. Подошел самарский казак Федько, приглядчик за атаманским добром и порядком.

– Батько, Петра Мокеев подымается.

– Радость мне! Должно, полегчало ему?

– Того не ведаю – лекарь там.

Медленно, с толстой дубиной в руке по корме к атаману шел Мокеев.

– Добро, Петра! Иди, болящий.

– Иду, Степан Тимофеевич, да, вишь, ходила становят.

– Все еще худо?

– Зор мой стал лучше, только в черевах огневица грызет.

Мокеев подошел, сел тяжело.

– Пошто в колонтаре? Грузит он тебя!

– В черевках огня, так железо студит мало, и то ладно...

– Лазунка, вина Петре!

– От тебя, батько, спробую, только в нутро ништо не идет.

Мокеев, перекрестясь, хлебнул из поданного ковша, вино хлынуло на ковер.

– Вишь вот! Должно, мне пришлось с голодухи сгинуть.

– Что сказывает лекарь?

– Ой, уж и бился он! Всю ночь живых скокух для холоду на брюхо клал, и где столько наимали – целую кадь скокух! Мазями брюхо тер, синь с него согнал, и с того зор мой стал лучше, а говорит: «В кишках веревание есть, то уж не ладно...»

Казакам, дозору на корме судна, Разин крикнул:

– Гей, соколы! Чикмаза астраханца взять за караул.

Из дозора вышел казак, подошел, кланяясь.

– Батько, сей ночью Чикмаз утек с козаком Федькой Шпынем, дозор кинули, текли в сутемках. Сбегая, дали голос: «Что-де идем к бусурманам вина добыть!» Становить их было не мочно. Утром ихний челн нашли, взяли с берега, был вытасчен до середины днища на сушу.

– И тут сплоховал! Перво – дал играть игру, кою еще под Астраханью я невзлюбил, другое – не указал палача имать тут же... В мысли держал оплошно, что-де из чужих, гиблых мест сбегчи заботится, да про Шпыня недомекнул – бывалый пес! Горы ему ведомы, горцы, должно, знают его. Эх, сплоховал Стенько! Воры убредут без накладу. Иди, сокол!

Казак ушел.

– А не горюй, Степан Тимофеевич! Чему быть – не миновать. Сколь раз я бой на бочке высиживал, и ништо было... Тут же сел, как рыба, – рот не запер... Игра эта тогда ладно сходит, когда человек напыжится, тогда брюхо натянуто – дуй, сколь надо... Я, вишь, перепил и обвиснул, удары ж были не противу иных.

– Эх, Петра! Не легче от того мне, что обвиснул ты. Воры убредли, и не пора нынче ногти грызть... Созвал я вас, есаулы молодцы, вот: иные из вас ропщут, пошто я не держу слова, не посылаю послов шаху. А надо ли? Пуцай круг решит: хотим мы сести на Куру-реку, то путь от Шемахи... Горы перешед, подхватит степь, той степью в ступь коня два дни ходу... Зде Кура-река течет ширью с Москву-реку, по той реке деревни, торги есть, базары... Сказывали мне бывалые люди: тут через реку долгой паром слажен, как мост на цепи сквозной... На том перевозе купцы деньги дают с выюка. Только сядем за шаха, на промысел гулебный нам не ходить... То еще проведаль я: шах много зол на разоренье Дербени. Хан гилянкой, не дождав его указу, сам наскочил. Дербень же мы наскоком разгромили. Не серчаю на Петру Мокеева и названного брата Сергея – их дело Дербень, только после ее шаху посольство не надобно. А думаю я еще разгромить берег и, укрепясь в заповеднике, перезимовать в Кизылбаше да на Куру-реку отплыть, а там уплавить на Дон.

– Посольство, батько, шаху и так не надобно.

– Вот и я решил то же, Петра.

– Вишь, шах крепко слажен с Москвой... В Астрахани был, ведал, что к шаху от Москвы, от шаха в Москву завсе гончие были: кои с товарами купцы шаха, от нас целовальники, приказчики за товарами. А ну, скажем, шах приберет нас в сарбазы, так ему тогда с Москвой сказать – прости! Знает он, какие головы козаки, а сыщики царские завсе выют коло шаха, в уши ему злое дуют про козаков! Нет, с шахом нам не кисель хлебать...

– Ты, Петра, видишь правду, я – тоже. Дума моя о том – не слать послов. Да и как кину я боярам народ русский? Кровь отца и брата не смыта – горит на мне, волков надо накормить досыта боярским мясом, и в Москве быть мне, казнить или самому казниться, а быть!

Встал Сережка:

– Батько! В Руси не жить нам – на Дону матерые козаки жмут, тянут вольных к царю... Москва руки на Дон что ни год шире налагает... За зипуном идти к турчину, каланчи да цепи сквозь воду, много смертей проскочить, мимо Азова и ходу нет! На Волге место узко, в Яике, в Астрахани головы да воеводы... Здесь же жить сподручно: Кизылбаша богата, место теплое, жен коих возьмем, иных с Дона уведем, семьи тоже; морем не пустят, то не один Федько Шпынь горы знает – ведаю горцев и я, а на Москву путь нам не заказан!

Встал Серебряков:

– Так, Степан Тимофеевич, и я мыслю, как Сергей, твой брат!

– Соколы! А как шах с нами не смирится?

– Смирится, батько! Что зорили города, это только силу ему нашу кажет, устрашит: «Не приму-де козаков, разорят Персиду». Примет! Ходил я с Иваном Кондырем веком, много зорили тезиков, а Ивана шах манил, – добавил Григорий Рудаков, старик.

– Эй, соколы, надо бы претить вам, да Серега, Иван и Григорий поперечат, одни мы с Петрой за правду. Ну, кого же брать к шаху?

– А то жеребий! – крикнул Сережка.

– Ждите! Сколь людей наладить: из козаков ли то, или из есаулов?

– Козаки ништо скажут – из есаулов!

– Ладьте, ежели, жеребий двум! Больше не дам, дам третьего в толмачи из тех персов, что без полона добром пришли служить мне... Говор наш смыслит, речь шаху перескажет, того и буде! Тебя, Петра, болящего, не шлю, в жеребий не даю...

– Ставь и меня, батько! На бой я долго негож, може навсегда, а сидя на месте смерть принять хуже, чем за твою правду!

– Вишь вот, други! Петра мекает, что у шаха – смерть... Надо послать людей маломочных; сгинете вы, удалые советчики, мое дело будет гинуть. Тут еще сон видал нехороший, не баба я – снам не верю, только тот сон не сон, явь будто.

– А ну, батько, какой тот сон?

– Скажи, Степан Тимофеевич!

– Да вот... Лежа с открытыми глазами, видел, что свешник у меня возгорелся, а свечи в ем, что посторонь средней, одна за одной зачали гаснуть... Иные вновь возгорались и меркли – долго то длилось... Потом одна середняя толстая осталась, и свет тое свечи кровав был...

Лазунка сказал:

– Тут, батько, Вологженин. Чует он тебя, сны хорошо толкует. Гей, дедко!

Из угла ханской палаты вышел старик в бараньей шапке с домрой под мышкой.

– Ты чул, дидо, сон атамана? Толкуй! – приказал Сережка.

Разин велел дать старику вина.

– Пей и не лги! Правды, сколь ни будет жестока, не бойся.

– Того, атаманушко, не боюсь! Ведаю, справедлив ты. Что посмыслю, скажу. – Старик передал Лазунке пустой ковш, утер мокрую бороду, сказал: – Кровава свеща – сам атаман, свещи посторонь – те, что ближни ему боевые люди: один пал, другой возгорелся...

– Вот ежели правда, соколы, то как я пошлю есаулов к шаху... Что значит, дидо, огонь мой кровав?

– То и младеню ведомо, атаманушко! Кровью гореть тебе на Руси... Свет твой кровавой зачнет светить сквозь многие годы. Ты не дождался, когда потухл он?

– Нет, старик!

– Вот ото... и ежели в тебе сгаснет – в ином возгорится твой свет...

– Добро, старой! Пей еще, сказал так, как надо мне, знаю: боевой человек кратковечен, вечна лишь дорога к правде... На той дороге кровавым огнем будет светить через годы, ино столетия наша правда!

Серебрякову, подставившему ковш, налили вина, он поклонился Разину, сказал:

– Ты без жеребья спусти меня, батько, к шаху! Я поведаю ему твою правду так, что и Москву кинет, даст нам селиться на Куре.

– Эй, Иван! А шах тебя замурдует? Ведь легче мне, ежели руку, лишь не ту, что саблю держит, отсеки... Я глазом не двину, коли надо спасти тебя, – дам отсечь руку.

Серебряков поклонился, сказал:

– А все ж спусти!

– Без жеребья не налажу, Иван!

– Сергей, мечи жеребьи!

– Лазунка, черти! Идти Ивану, Григорию, Петру ставить ли, батько?

– Ставь, Сергей! За правду перед шахом мне прямая дорога.

– Петру идти, Михайлу, Сергею, Лазунке.

Разин, хлебнув вина, сказал:

– Легче мне на дыбе висеть, чем слушать, как вы, братья, суетесь в огонь!

Сережка ответил:

– Ништо, батько! Даст-таки шах место, запируем и зорить воевод пойдем, а за горами нас не утеснить.

Лазунка написал имена есаулов, завернул монеты в кусочки материи, вместе с именами кинул в шапку деда-сказочника.

– Тряси, старик! Вымай, Рудаков! Два древних пушай судьбу пытаются.

– Пустая! Пустая! Еще пустая! Серебрякову идти! Пустая! Пустая! А ну? Еще пустая! Мокееву Петру идти.

– Вишь вот, кто просился, тот и покатился, – сказал древний сказочник, вытряхивая жеребьи.

– Что, батько? Я еще гожа на твою правду! Сказывать ее буду ладом. Одно лишь – шаху не верю: московской царь – Ирод, перской – сатана! Един другого рогом подпирают. Иду, Степан Тимофеевич.

– Эх, Петра! – Разин опустил голову, лицо помутилось грустью, прибавил необычно и очень тихо: – Воле вашей, соколы, не поперечу... – Поднял голову: – Чуйте! О бабах кизыл-баши не очень пекутся, как и у нас. Княжну не помянем, пушай Мокеева Петры память со мной пребудет. Но есть полоненник, сын хана Шебынь; удержит кого из вас аманатом шах, сказывайте ему про Шебыня и весть дайте – обмену с придачей.

– Ладно, батько. Теперь нам дай толмача.

– Того берите сами, кой люб и смыслит по-нашему.

9

Подьячий, дойдя до старого торгового майдана, не пошел дальше; народ толпами теснился на шахов майдан; рыжий подьячий слышал возгласы:

– Шах выйдет!

– Повелитель Персии идет на майдан!

Рыжий, проходя мимо торговцев фруктами – шепталой, изюмом, винными ягодами и клейкими розовыми сладостями, – думал:

«Без дела к шаху не надо... Ходит запросто, не то что наш государь. Наш в карете. Шах, будто палач, норовист по-шаловному: кого зря пожалует, ино собакам скормит...»

К середине площади провели нагого человека.

«А, своровал? Казнят!»

Рыжий любил глядеть казнь, потому спешно пошел. На середине площади стоят каменные столбы дважды выше человека, с железными кольцами, в кольцах ремни.

Бородатый палач, голый до пояса, в красных, запачканных черными пятнами крови шароварах. На четырехугольном лице большой нос, приплюснутый над щетиной усов. Оскалив зубы, палач всунул кривой нож в тощий живот преступника.

– Иа! Иа!

Палач, не глядя на казненного, встав к нему задом, громко закричал:

– Персы! Великий шах наш спросил эту собаку, которую я казнил: «Кто ты?» Он же ответил милостивому нашему отцу Аббасу: «Человек, как и ты, шах!» Непобедимый шах сказал:

«Ты – собака, когда не умеешь говорить со мной!» – и велел взять его... Всякого отдаст мне великий, кто со злобой будет отвечать солнцу Персии.

– Слава шаху Аббасу! – закричал рыжий.

Толпа молчала.

– Пусть не кричат про величество дерзких словес, слава непобедимому шаху!

Толпа молча расходилась...

«А, черти крашенные! Не по брюху калач, что шах человечьим мясом собак кормит? Зато и не лезу к нему на глаза. – Рыжий пошел к майдану. – А ну, что их клятая абдалла³⁶ лжет?»

Подошел к дервишу. Дервиш сидит на песке в углу майдана спиной к каменному столбу, перед ним раскрыта древняя книга. Тело дервиша вымазано черной нефтью от глаз до пят, запах застарелого пота разносится от него далеко. Бородатый, в выцветшей рваной чалме, в ушах на медных кольцах голубые крупные хрустали. Перед дервишем слегка приникшая толпа. Впереди, выдвинувшись на шаг, перс с больным желтым лицом, под безрукавым, цвета серого песка, плащом со скрипом ходит грудь, на тонкой шее трепещет толстая жила, из-под голубой чалмы на лицо и бороду течет пот. Перс с испугом в глаза хрипло спросил дервиша:

– Отец! Поведай, сколько еще жить мне? Бисмиллахи рахмани рахим... скажи?

– Аз ин китаб-э шериф мифахмом, кэ зандегонии ту си у, сэ соль туль микяшэд!³⁷

Рыжий фыркнул и отошел:

«Клятой, лгет: естество истлело, чем тут жить тридцать лет? Мне бы такое предсказал – оно ништо...»

В другой толпе, окруженный, но на большом просторе, стоял человек, увешанный сизыми с пестриной змеями; змеи висели на укротителе, как обрывки канатов.

Укротитель без чалмы, волосы и борода крашены в ярко-рыжий цвет, бронзовое тело, худое, с резкими мускулами, до пояса обнажено. По голубым штанам такой же кушак.

На песке в кругу людей ползала крупная змея с пестрой головой. Укротитель ударил кулаком в бубен, висевший у кушака: все змеи, недвижимо пестрящие на нем, оттопырили головы и зашипели. Ползущая по кругу тоже подняла голову, остановилась на минуту и поползла прямо в одну сторону. Толпа, давая змее дорогу, спокойно расступилась. Рыжий отскочил:

«А как жогонет гад? Сколь раз видал их и не обык!»

Укротитель ударил в бубен два раза, змея поднялась на хвосте с сажень вверх, мелькнула в воздухе, падая на плечи укротителя. Один человек из толпы выдвинулся, спросил:

– В чем моя судьба?

– Мар махазид суй машрик, бояд рафт Мекке бэрои хадж. Ин кисмат-э туст!³⁸

Рыжий, боясь подойти близко к укротителю, крикнул по-русски:

– Эй, сатана! Наступи гаду на хвост – поползет на полуночь. С того идти не в Мекку, а к бабам для приплоду или в кабак на гульбу!

Не зная языка московитов, укротитель покачал головой, чмокнув губами...

На шаховом майдане ударили медные набаты, взревели трубы – шах вышел гулять. А на торговый майдан входили трое: двое в казацких синих балахонах и третий в золоченых доспехах.

– «Вот те святая троица, Гаврюшка! Хошь не хошь, к шаху путь, – то они!»

Серебряков поддерживал Мокеева. Мокеев с дубиной в руке медленно шел, сзади – толмач из персов.

Рыжий подошел, кланяясь, заговорил, шмыгая глазами:

³⁶ Абдаллами русские XVII в. называли дервишей.

³⁷ Из священной книги я понимаю, что твоя жизнь продлится тридцать три года!

³⁸ Змея ползет на восток, следует отправиться в Мекку в паломничество – это твоя судьба!

– Робятки! Вот-то радость мне, радость нежданная... От Разина атамана, поди, до шаха надо?

– От Степана Разина, парень. Тебе чого? – спросил Серебряков.

– Как чого? Братие, да кто у вас толмач? Ломаный язык – перс? Он завирает ваши слова, как шитье в куделе. Замест услуги атаману дело и головы стубите – шах человек норовистой.

– Ты-то так, как тезики говорят, смыслишь? – спросил Мокеев, тяжело дыша, пошатываясь. – Горит утроба! Да, жарко, черт его! Водушки ба испить?

– Окромья персицкого надо – так арапский знаю, говор их тонко ведаю, а вы остойтесь: шах еще лишь вышел, не разгулялся, сядьте. Толмач вам воды пресной добудет, здесь она студеная!

– Ты куды?

– Платье, рухледь обмену! К шаху пойдем – шах не терпит людей в худой одежде.

– Поди, парень. Мы дождем.

На каменной скамье казаки сели, толмач пошел за водой. Рыжий юркнул в толпу.

– Начало ладное, свой объявился, по-ихнему ведает – добро! Обскажет толком.

– Как будто и ладно, Петра, да каков он человек?

– Справной, зримо то. Жил тут и обычаи ведает. Вишь, сказал: «Шах не любит худой одежи». А кабы не заботился, то было бы ему все едино – худа аль хороша одежда...

– Оно пожалуй что так!

Рыжий вскоре вернулся в желтом атласном кафтане турецкого покроя, по кафтану голубой кушак с золочеными кистями на концах. На голове вместо колпака летняя голубая мур-молка с узорами.

– Скор ты, брат! – сказал Мокеев. – То добро!

– Хорош ли?

– Ладен, ладен!

– Веди коли ты нас к шаху.

– Я тут обжился и нажился с деньгой – ясырем промышляю, мне все – не то улицы – закоулки ведомы. Ладно стрелись – дело ваше разыграю, во!

Толмач перс молчал.

Рыжий заговорил с толмачом по-персидски.

Серебряков спросил перса:

– Хорошо наш московит знает по-перски?

– Карашо, есаул. Очень карашо!

– Тогда он будет шаху сказывать, ты пожди да поправь, ежели кто солжет про нас... У тебя, вишь, язык по-нашему не ладно гнется, нам же надобны прямые словеса.

– Понимай я! – ответил толмач.

10

Шах сидел спиной к фонтану в белом атласном плаще. Голубая чалма на голове шаха перевита нитками крупного жемчуга, красное перо на чалме в алмазах делало еще бледнее бледное лицо шаха с крупной бородавкой на правой щеке, с впалыми злыми глазами. По ту и другую сторону шаха стояли два великана-телохранителя с дубинами в руках. В стороне среди нарядных беков слуга держал на серебряных цепях двух зверей – породы гепардов. звери гладкошерсты, коричневые, в черных пятнах, морды небольшие, с рядом высунутых острых зубов, лапы длинные, прямые – отличие быстроты бега...

Рыжий шепнул Серебрякову, поняв, что он недоверчиво относится к нему:

– Зрите в лицо шаху! Шах любит, чтоб на него как на бога глядели...

– Чуем, парень!

Было очень тихо. Шах начал говорить, но обернулся к бекам:

– Зачем даете шуметь воде?

Шум воды прекратился. Фонтан остановили.

Шах, обращаясь к толпе, заговорил ровным тихим голосом:

– Бисмиллахи рахмани рахим! Люди мои, разве я не даю вам свободу в вере и торге? Я всем народам царства моего даю молиться, как кто хочет! У мечетей моих висят кумиры гяуров – армян, русских и грузин, разве я разбиваю то, что они называют иконой? Нет! Правосверным даю одинаковое право – шиитам и суннитам. Пусть первые исповедуют многобожие, другие единобожие, они сами враждуют между собой. Мне же распри их безразличны!.. Я не спрашиваю у вас, посещаете ли вы мечеть, как творите намаз? Я знаю, что вы платите при разводах абаси на украшение моих Кум³⁹. Того мне довольно. Или вам в торге мной не дана свобода? Торгуйте, чем хотите. Я не мешаю, если вы жен своих продадите в рабство, – то ваше право. А вот когда вас шах призывает играть грязью и водой – игру, которой тешились еще предки мои, властители Ирана, мой дед Аббас Первый – победитель турок, завоеватель многих городов Индии, и я, шах Аббас Второй, тогда вижу, что иные из вас приходят играть в худом платье, боясь, что их разорят... Так вы жалеете для шаха тряпок? Берегитесь! Я буду травить собаками или давать палачу всякого, кто пришел играть в старой одежде. Помните лишь: шах прощает наготу и нищету только дервишам, но не вам! Также есть, кто говорит со мной грубо, не преклонив колени, – того казнию без милосердия.

Толмач тихо переводил слова шаха Серебрякову.

Мокеев, прислушиваясь, сказал:

– Вишь, Иван, наш московский сказал всю правду про шаха. А мы таки запылились в пути.

– Перво все же пушай наш толмач говорит, Петра! – Серебряков, обратясь к рыжему, прибавил: – Паренек! Наш толмач скажет, а там уж ты.

– Ныне, козак, как захочу: шею сверну или с дороги поверну... хо!

– Нам спокойнее – наш!

– У вас сабли остры – у меня язык. – Рыжий, шмыгнув по толпе глазами, сказал: – Ужли Акимко дьяк zde?

– Кто таков?

– То не вам – мне надобно! Без сатаны место пусто! Пришел курносой...

Бывший дьяк был в толпе, но на вид не выходил.

– Выйди ближе – я тя обнесу перед шахом!

– Ты и нас обнесешь? – спросил Серебряков.

– С чего? Я узрю, как лучше.

Серебряков выдвинул вперед толмача, сказал:

– Молви – послы от атамана!

Толмач, выйдя, преклонил колено, прижал руку к правому глазу:

– Великий шах! К тебе, солнцу Персии, с поклоном, пожеланием здоровья прислал своих козаков просить о подданстве атаман Степан Разин.

– Тот, что разоряет мои города? Беки! Отберите у них оружие!

Два бека вышли из толпы придворных, сказали толмачу:

– Пусть отдадут сабли, и, если есть, пистолы тоже передай нам!

Серебряков и Мокеев, вынув, отдали сабли.

– Пусть тот отдаст дубину! Он – посол, дубина надобна только великого шаха слугам.

– Не дам! Паду без батога – скажи им, толмач.

Толмач перевел слова Мокеева, шах спросил:

³⁹ Священное место, кладбище шахов.

- Чего тот в доспехах кричит?
- Хвор он! Сказывает, падет без палки.
- Пусть подходит с палкой!

Мокеев, Серебряков и толмач вышли вперед. Серебряков, как указал толмач, преклонил левое колено.

- Приветствуем тебя, шах!
- Толмач перевел, прибавив слово «великий».
- Много вы разорили моих селений и городов?
- Те разорили, кои на нас сами нападали, – ответил Серебряков.
- Шах метнул больными глазами на Мокеева, крикнул:
- Зачем не преклонил колен и головы?! Он знает мою волю.
- Толмач перевел. Серебряков ответил:
- Шах, ему не подняться с земли преклонив колени, он – хворобый.

– Пушай лежа сказывает, что надо ему. Зачем шел хворый? – заметил шах, мотнув головой, сверкая алмазами пера скороходам.

- Поставьте козак на колени, не встанет – сломайте ему ноги, он должен быть ниже!
- Великаны, оставив посохи, подошли к Мокееву.

– Што надо?

Толмач перевел есаулу волю шаха.

– Хвор я, да кабы ядрен был – не встал, оттого царя на Москвы глядеть не мог – не в моем обычае то...

Видя, что Мокеев упорствует, скороходы шагнули к нему, взялись за плечи. Мокеев двинул плечами, рукой, свободной от палки, оба перса отлетели, один упал под ноги шаху.

Толпа замерла, ожидая гнева повелителя. Шах засмеялся, сказал:

– Вон он какой хворый!.. Каков же этот козак был здоровым и много ли у Разина таких?

Толмач быстро перевел. Мокеев крикнул:

– Все такие! И вот ежели ты, шах, не дашь нам селиться на Куре, не примешь службы нашей тебе головами, то спалим Персию огнем, а жителей продадим турчину ясырем!

Серебряков сказал тихо:

- Петра! Так губишь дело – не те словеса твои...
- Вишь, он нахрапистой – все едино, что говорить!

Серебряков приказал толмачу:

– Переведи шаху вот, а не его слова: «Много нас, шах, таких, как я. Будем ему служить верно и честно, если даст место на Куре-реке».

Толмач перевел.

Шах ответил:

– Погляжу еще на вас. Может быть, прошу разорение Дербента и иных селений... Я верю, знаю, что они храбрый народ! Такие воины нужны Персии.

Из толпы вышел седой военачальник гилянского хана, преклонив колено, приложив правую руку к глазу, заговорил торопливо:

– Великий шах Аббас! Эти разбойники в Кюльзюм-море утопили, сожгли корабли и бусы повелителя Гиляна; его убили, взяли сына в плен – держат до сих пор. Благородный перс томится на своей родине в неволе у грабителей.

Шах нахмурился, сказал строго:

- Встань, Али Хасан!
- Чашм, солнце Персии! – Старик встал, склонив голову.
- Скажи мне, визирь моего наместника, сколько повелителей в Персии?
- Един ты, великий шах! – ответил старик.

– Да, только я один, шах Аббас Второй, – повелитель! Убитый козаками наместник присвоил себе имя повелителя, и горе ему! Вас всех приучил к этому слову... Завел двор, жил хищениями. Он так зазнался, что стал самовластным. Не дожидаясь моего указа, кинулся в море на них! – Шах указал рукой в сторону Серебрякова. – И думаю, хан мешал тебе, старик? Ты вел корабли, позорно бежал от сечи.

– Великий шах Аббас, хан перед битвой отнял у меня власть, он сам приказывал битве. Я же, усмотря, что гибель кораблей неизбежна, увел три бусы, спасая людей.

– Али Хасан, что еще сказать о хане? Меня замещал словом повелитель? Тебя, старого военачальника, сместил? За гордость свою был достойно наказан. И еще: он без моего ведома сносился с горцами – он опасен.

Смутно понимая, что говорят о гилянском хайе, Серебряков склонил голову и левое колено.

– Шах, гилянский хан сам напал на наши струги.

Также прибавив слово «великий», толмач перевел.

– Козаки, за хана гилянского не осуждаю вас.

Выступил рыжий.

Преклонив перед шахом оба колена, сняв мурмолку, затараторил по-персидски:

– Великий государь всея Руси, великая, малая и белая, самодержец Алексей Михайлович послал меня, холопа своего, к величеству шаху Аббасу челом бить, справиться о здоровье и грамоту от государя передать!

– Встань и дай! Что пишет царь московитов ко мне, повелителю Ирана?

– Погубит нас тот! – тихо сказал толмач Серебрякову.

Мокеев услышал.

– Тебя, парень толмач, зависть берет?

– Петра! Толмач правду молыт, я это чую...

Шах подъячий читал; бумагу по-персидски, начиная с величания царя:

– «А чтоб не было розни между государствами и многой помехи торгу, то пишу я тебе, брат мой величество шах Аббас Второй: изымай ныне шарпающего твои города вора атамана Стеньку Разина, дай его мне на расправу на Москву... Грабитель оный, Стенька Разин, столь же опасен как нашему русскому царству, такожде и тебе, величество, шаху подданным...»

Шах накрыл бумагу; прекращая чтение, сказал:

– Кто опасен мне – знаю, а что торговля падет, то не моя о том печаль! Мои подданные исправно платят подати, а иное – купцов заботы... Думаю я взять козаков в подданство; куда их селить – увижу!.. Хочешь, то передай это своему царю да скажи: указать мне не волен никто!

Рыжий, свертывая бумагу, подумал:

«Сей же день отписку: «В Посольском-де приказе дьяки нерадиво пишут – на письмо шах зол».

Он поклонился, не надевая мурмолки, и не уходил. Шах был гневен:

– Хочешь говорить? Скорей. И уходи с глаз!

Рыжий ткнул свернутой грамотой в сторону Мокеева:

– Величество, шах Аббас! Вот тот вор, дознал я, убил в Дербени твоего визиря Абдуллаха, братьев его и сынов, а дочь, зовомую Зейнеб, имал ясырем, дал необрезанному гяуру, атаману вору, в жены!

– Как, Абдуллах убит? – Шах повернулся к бекам.

Те, склонив головы, молчали.

– И вы до сих пор не известили меня о его смерти? Да... Теперь я знаю, беки, как ненавидели вы его, – он был горд с вами! Тот убил? Эй, вы! – Шах ткнул рукой в сторону Серебрякова с толмачом. – Отпускаю, мира с атаманом не будет! Того – гепардам. – Шах погрозил кулаком Мокееву и, крепче сжимая кулак, махнул слуге: – Спускай!

Слуга, отстегнув цепь, гикнул, бросил к ногам Мокеева кинжал – знак, кого травить. Гепарды рыкнули, кинулись: один спереди, другой сзади впился есаулу в шею. Переднего Мокеев ткнул дубиной – гепард отполз, скуля, роняя на песок из носа кровь. Другой висел, сжимая пастью, царапал кошачьими когтями колонтарь.

– Посулы от сотоны?..

Кинув дубину, Мокеев согнулся, по шее спереди текла кровь, не давала дышать. Есаул достал гепарда рукой, с кусками тела сорвал и, перекинув через голову, стукнул о землю, придавив ногой. Нагнувшись, поднял животное, кинул к ногам шаха:

– Тебе, черту, на воротник!

– Гепардов дать! – Шах вскочил. Лицо его из бледного стало серым, на щеке синим налилась бородавка, красное перо замоталось на чалме.

Серебряков сделал шаг вперед, склонив колено:

– Шах, товарищ хвор! Его обнесли, не он зорил – много козаков зорило Дербень!

Толмач быстро перевел, а на песке издыхали любимые гепарды шаха. Шах был гневен: поверив одному, ничему больше не верил. Он взвизгнул, потрясая кулаками:

– Хвор – ложь! Дать гепардов! Во всем моем владении нет человека, кто бы таких могучих зверей задавил, как щенков. Ложь! Берегись лгать мне!

Беки с оружием придвинулись к шаху, охраняя его и давая дорогу. От рычания гепардов толпа шатнулась вспять.

Четыре таких же рослых гепарда, молниеносно наскочив, рвали Мокеева. Не устояв на ногах, он обхватил одного гепарда и задавил. Шах сам гикал визгливо гепардам, топал ногой. В минуту на песке, дрыгая, подтекая кровью, сверкал на солнце замаранный колонтарь: у есаула не было ни ног, ни головы. Недалеко вытянулся задушенный силачом гепард с оскаленными зубами да валялась смятая запорожская шапка...

Затрещал рог – гепарды исчезли.

– Видел?! Скажи атаману, как я принял вас. Пусть отпустит дочь Абдуллаха, или я отвезу его в железной клетке к царю московитов. Бойся по дороге обидеть людей, или с тобой будет то же, что стало с тем.

Голова с седой косой военачальника гилянского хана низко склонилась:

– Непобедимый отец Персии, вели сказать мне.

– Говори!

– Не надо отпустить живым этого посланца: он, я по глазам его узнаю, – древний вождь грабителей, имя его «Нечаии», его именем идут они в бой...

– Того не знаю я, Али! Он вел себя как подобает. Мое слово сказано – отпустить! А вот если хочешь быть наместником Гиляна – тебе я даю право глядеть, как будут строить флот. Вербуй войско и уничтожь или изгони козаков из Персии.

Толмач опасливо и тихо перевел слова шаха Серебрякову.

– Чашм, солнце Ирана!

– Нече делать – идти надо, парень!

От фонтана толпа медленно шла на шахов майдан; в толпе шел рыжий, желтея атласом, пряча под пазухой бархатную мурмолку, чтоб не выгорала. Лицо предателя было весело, глаза шмыгали.

Он, подвернувшись с левой руки к Серебрякову, крикнул:

– Счастливы воры! Мекал я, величество всех решит!

– Кабы пистоль, я б те дал гостинца, да, вишь, и саблю не вернули, – громко ответил есаул.

– Толмач, поучи черта персицкому, пушай уразумеет, что сказал шах: «За обиду – смерть!»

Шутил, удаляясь, рыжий:

– «Эх, Гаврюха, ловко сказал, лучше посольской грамоты!..»

Скоро идти в толпе было трудно. Подьячий шел в отдалении, но в виду у казаков. Справа из толпы к Серебрякову пробрался бородатый курносый перс, шепнул:

– Обнощика спустили! стыдно, козаки!

– Да, сотона! От руки увернулся, пистоля нет.

– А ну, на счастье от Акима Митрева дьяка – вот! Заправлен! – Курносый из-под полы плаща сунул Серебрякову турецкий пистолет с дорогой насечкой.

– Вот те спасибо! Земляк ты?

– С Волги я – дьяк был! Прячь под полую!

– То знаю!

Бывший дьяк исчез в толпе. Серебряков, держа пистолет в кармане синего балахона, плечом отжимал людей, незаметно придвигаясь к подьячему. Рыжий был недалеко. Не целясь, есаул сверкнул оружием, толпа раздалась вправо и влево.

– Прими-ко за Петру!

Рыжий ахнул, осел, роняя голову, сквозь кровь, идущую ртом, булькнул:

– Дья... дья... дья... – сунулся вниз, договорил: – Дьяк!..

Из толпы кинулись к рыжему. Серебряков придвинулся, взглянул:

– Несчастный день пал! Да, вишь, собаку убил, как надо.

– Иа, Иван! Иншалла... Дадут нас гепардам, боися я...

– Дело пропало, Петру кончили, – я, парень, никакой смерти не боюсь.

Серебрякова с толмачом беки привели к шаху. Кто-то притащил рыжего. Он лежал на кровавом песке, откуда только что убрали Мокеева. Серебряков бросил пистолет:

– Хорош, да ненадобен боле!

– Тот, седые усы, убил!

Шах сидел спокойный, но подозрительный. Военачальник гилянского хана сказал:

– Теперь, солнце Персии, серкешь исчезнет в Кюльзюм-море, как дым.

– Али Хасан, этот старый козак – воин. С таким можно со славой в бой идти. – Спросил Серебрякова, указывая на рыжего: – Он ваш и вам изменил? Я верю тебе, ты скажешь правду!

– Шах, то царская собака – у нас нет таких.

Толмач перевел.

– Убитого обыщите!

Беки кинулись, обшарили Колесникова и, кроме грамоты, не нашли ничего.

– Может быть, убитый – купец!

Из толпы вышел седой перс в рыжем плаще и пестром кафтане, в зеленой чалме, преклонив колено, сказал:

– Великий шах, убитый не был купцом – я знаю московитов купцов всех.

Шах развернул грамоту подьячего, взглянул на подписи.

– Здесь нет печати царя московитов! Ее я знаю – убитый подходил с подложной бумагой. Беки, обыщите жилище его – он был лазутчик! – Взглянув на Серебрякова, прибавил: – Толмач, переведи козаку, что он совершил три преступления: мое слово презрел – не убивать, был послом передо мной – не отдал оружия и убил человека, который сказал бы палачу, кто он.

Толмач перевел.

– Шах, умру! Не боюсь тебя.

– Да, ты умрешь! Эй, дать козака палачу. Не пытаться, я знаю, кто он! Казнить.

Серебрякова беки повели на старый майдан.

Есаул сказал:

– Передай, парень: умерли с Петрой в один день! Пусть атаман не горюет обо мне – судьба. Доведи ему скоро: «Собирают-де флот, людей будут вербовать на нас, делать тут нечего, пуцай вертает струги на Куру-реку или Астрахань».

– Кажу, Иван! Иа алла.

11

Много дней Разин хмур. Неохотно выходил на палубу струга, а выйдя, глядел вдаль на берег. Княжна жила на корабле гилянского хана. Атаман редко навещал девушку и всегда принуждал ее к ласке. Жила она окруженная ясырками-персиянками. Разин, видя, что она чахнет в неволе, приказывал потешать княжну, но отпустить не думал. На корабле, в трюме, запертый под караулом стрельцов, жил также пленный, сын гилянского хана; его по ночам выпускали гулять на палубе. На носу корабля, где убили хана, сын садился и пел заунывную песню, всегда одну и ту же. Никто не подходил к атаману; один Лазунка заботился о нем, приносил ему вино. Разин последние дни больше пил, чем ел. Спал мало. Погрузясь в свои думы, казалось, бредил. Утром, только лишь взошло солнце, Лазунка сказал атаману:

– Батько, вывез я на струг дедку-сказочника, пущай песню тебе сыграет или сказкой потешит.

– Лазунка, не до потехи мне, да пущай придет.

Вошел к атаману скоро подслеповатый старик с домрой под пазухой, в бараньей серой шапке, поясно поклонился.

Подняв опущенную голову, Разин вскинул хмурые глаза, сказал:

– Супротив того как дьяк бьешь поклоны! Низкопоклонных чту завсе хитрыми.

– Сызмала обучили, батюшко атаманушко...

– Сами бояра гнут башку царю до земли и весь народ головой к земле пригнули! Эх, задастся ли мне разогнуть народ!

– Сказку я вот хочу тебе путать...

– Не тем сердце горит, дидо! И свои от меня ушли, глаз бояться; един Лазунка, да говор его прискучил. Знаешь ли: сказывай про Бога, только чтоб похабно было...

– Ругливых много про божество, боюсь путать... Ин помыслию... что подберу. Да вот, атаманушко: «Жил, вишь, был на белу свету хитрый мужичонко. Работать ленился, все на Бога надею клал... И куда ба ни шел, завсе к часовне Миколы тот мужик приворачивал, на последние гроши свечу лепил, а молился тако: «Микола, свет! Пошли мне богачество».

Микола ино и к Богу пристаёт:

– Дай ему, чого просит, не отвяжется!

Прилучилось так – оно и без молитвы случается – кто обронил, неведомо, только мужик тот потеряху подобрал, а была то немалая казна, и перестало с тех пор вонять в часовне мужичьей свечкой.

Говорит единожды Бог Миколу:

– Дай-кось глянем, как тот мужик живет?

Обрядились они странниками, пришли в село. Было тогда шлякотно да осенне в сутемках. Колотится божество к мужику. Мужик уж избу двужирную справил с резьбой, с красками, в узорах. На купчихе женился, товар ее разной закупать послал и на копейку рупь зачал наколачивать.

– Доброй мужичок, пусти нас.

Глянул мужик в окно, рыкнул:

– Пушу, черти нищие, только чтоб хлеб свой, вода моя. Ушат дам, с берега принесете; а за тепло – овин молотить!

– Пусти лишь, идем молотить!

Зашли в избу. Сидит мужик под образами в углу, кричит:

– Эй, нищие! Чего это иконам не кланяетесь, нехристи?!

– Мы сами образы, а ты не свеча в углу – мертвец!

Старики кое с собой принесли, того поели; спать легли в том, что надели. Чуть о полуночь кочет схлопался, мужик закричал:

– Эй, нищие черти, овин молотить!..

Микола, старик сухонькой, торопкой, наскоро округился. Бог лапоть задевал куды, сыскачь не сыщет, а сыскал, то оборки запутались... Мужiku не вмоготу стало, скок-поскок – и хлоп Бога по уху:

– Матерой! Должно, из купцов будешь? Раздобрел на мирских кусках!..

– Мирским-таки кормимся, да твоего хлеба не ели!»

– Смолчи, дидо! Чую я дально, будто челн плещет? Давай вино пить! Должно, есаулы от шаха едут... али кто – доведут ужо...

– От винца с хлебцем век не прочь...

На струг казаки привезли толмача одного, без послов есаулов. Лазунка встретил его.

– Здоров ли, Лазун? Де атаман? Петру шах дал псам, Иван – казнил!

– Пожди с такой вестью к атаману – грозен он. Жаль тебя... ты меня перскому сказу учишь и парень ладной, верной.

Толмач тряхнул головой в запорожской шапке:

– Не можно ждать, Лазун! Иван шла к майдан помереть, указал мне: «Атаману скоро!»

– Берегись, сказываю! Спрячься. Я уж доведу, коль спросит, что козаки воды добыли...

Потом уляжется, все обскажешь.

– Не не можно! И кажу я ему – ихтият кун, султан и козак⁴⁰; шах войск собирает на атаман... Иван казал: «Скоро доведи!»

– Жди на палубе... выйдет, скажешь.

Лазунка не пошел к атаману и решил, что Разин не спросит, кто приплыл на струг. Ушел к старику Рудакову на корму, туда же пришел Сережка, подсел к Рудакову:

– Посыпь, дидо, огню в люльку!

Рудаков высыпал часть горячего пепла Сережке в трубку, тот, раскуривая крошенный табак, сопел и плевался.

– Напусто ждать Мокеева с Иваном! Занапрасно, Сергей, томим мы атамана: може, шах послал их на Куру место прибрать. Эй, Лазунка, скажи-кось, верно я сказываю?

– Верно, дидо! Прибрали место.

– Ну вот. Ты говорил с толмачом – что есаулы?

Лазунка ответил уклончиво:

– Атаман не любит, когда вести не ему первому сказывают! Молчит толмач.

– То правда, и пытать нечего! – добавил Сережка.

Рудаков, поглядывая на далекие берега, думал свое:

– Тошно без делов крутиться по Кюльзюму... Кизылбаш стал нахрапист, сам лезет в бой.

– Ты, дидо, спал, не чул вчера ночью, а я углядел: две бусы шли к нам с огненным боем. Да вышел на мой зов атаман, подал голос, и от бус кизылбашских щепы пошли по Хвалынскому морю...

– Учул я то, когда все прибрано было, к атаману подступил, просил на Фарабат грянуть...

– Ну, и что?

– Да что! Грозен и несговорен, сказал так: «Негоже-де худое тезикам чинить без худой вести о послах». А чего чинить, коли они сами лезут?

– Эх, дидо! Я бы тож ударил, только тебе Фарабат, мне люб Ряш-город... Шелку много, ковров... арменя живет – вино есть.

– Чуй, Сергей, зверьем Фарабат люб мне... в Фарабате шаховы потешны дворы, в тых дворах золота скрыни, я ведаю. И все золотое, – чего краше – ердань шахова, и та сложена

⁴⁰ Опасайся, повелитель казаков.

вся из дорогого камня. Издавна ведаю Фарабат: с Иваном Кондырем веком его шарпали, а нынче, знаю, ен вдвое возрос... Бабра там в шаховых дворах убью. Из бабровой шкуры слажу себе тулуп, с Сукниным на Яик уйду – будет тот тулуп память мне, что вот на старости древней был у лихого дела, там – хоть в гроб... Бабр, Сергей, изо всех животных мне краше...

– Ты ба, дидо, атаману довел эти свои думы.

– Ждать поры надо! Я, Сергеюшко, познал людей: тех, что подо мной были, и тех, кто надо мной стоял. Грозен атаман – пожду.

Разин, оттолкнув ковш вина, сказал старику:

– Ну, сказочник дид! Пей вино один ты – мне в нутро не идет... Пойду гляну, где мои люди. Лазунка, и тот сбег куды!

Стал одеваться. Старик помог надеть атаману кафтан:

– Зарбафной тебе боле к лицу, атаманушко, а ты черной вздел...

– Черной, черной, черной! Ты молчи и пей, я же наверх...

Наверху у трюма толмач.

– Ты-ы?!

– Я, атаман!

– Где Петра? Иван где?

– Атаман, Петру шах дал псу, Иван казнил... Тебе грозил и казал вести на берег дочь Абдуллаха бека – то много тебе грозил...

– Чего же ты, как виноватый, лицом бел стал и дрожишь? Ты худо говорил шаху, по твоей вине мои есаулы кончены, пес?

– Атаман, я бисйор хуб казал... Казал шах худа лазутчик царска, московит...

– Ты не мог отговорить шаха? Ты струсил шаха, как и меня?!

Толмач белел все больше, что-то хотел сказать, не мог подобрать слов.

Разин шагнул мимо его, проходя, полуобернувшись, сверкнула атаманская сабля, голова толмача упала в трюм, тело, подтекая, на срезе шеи, инстинктивно подержалось секунду, мотаясь на ногах, и рухнуло вслед за головой.

Разин, не оглянувшись, прошел до половины палубы, крикнул:

– Гей, плавь струги на Фарабат!

На его голос никто не отозвался, только седой без шапки Рудаков перекрестился:

– Слава ти! Дождлся потехи...

– На Фарабат! – повторил атаман, прыгая в челн.

– Чуем, батько-о!

Два казака, не глядя в лицо Разину, взяли за весла.

– Соколы, к ханскому кораблю!..

12

– Гей, братья, кинь якорь! – крикнул казакам Сережка.

Гремя цепями, якоря булькнули в море. Струги встали. На берегу большой город, улицы узки, извилисто проложенные от площади к горам. У гор с песчаными осыпями на каменистой террасе голубая мечеть, видная далеко. Справа от моря на площади шумит базар с дырками в кровле, среди базара невысокая башня с граненой, отливающей свинцом крышей. К берегу ближе каменные, вросшие в землю амбары.

– Батько! Вот те и Ряш.

– Иду, Сергей.

На палубу атаманского струга вышел Разин в парчовом, сияющем на солнце золотым шитьем кафтане. Кафтан распахнут, под ним алый атласный зипун.

– Здесь, брат мой, справим поминки Серебрякову с Петрой!
– Дедке Рудакову тож, а там в шахов заповедник к Сукнину...
– Узрим куда.
– Чую нюхом – в анбарах вино!
– Без вина не поминки – душа стосковалась по храбрым, эх, черт!
Еще издали, заметив близко приплывшие струги казаков, в городе тревожно кричали:
– Базар ра бэбэндид!⁴¹
Кто-то из торговцев увозил на быках товары, иные вешали тюки на верблюдов.
– Хабардор!
– Сполошили крашенных!..
Лазунка вглядывался в сутолоку базара.
– Гей, Лазунка! Что молвят персы?
– Чую два слова, батько: «Закрывай базар», «Берегись!» Пошто кизылбаша моего посек
– обучился б перскому сказу!
– К сатане! Не торг вести с ними... Козаки, в челны запаси оружие.
– Батько, просится на берег княжна.
– Го, шемаханская царевна? Сажай в челн, Лазунка: пущай дохнет родным... добро ей!
Челны казаков пристали. Немедля на берегу собрались седые бородатые персы в зеленых и голубых чалмах.
Поклонились Разину, сторонясь, пропустили для переговоров горца с седой косой на желтом черепе. Пряча в землю недобрые глаза, горец сказал:
– Козак и горец издавна братья!
– И враги! – прибавил Разин.
– Смелые на грабеж и бой не могут дружить всегда, атаман! Здесь же не будем проливать крови: мы без спору принесем вам, гостям нашим, вино, дадим тюки шелка, все, чем богат и славен Решт, и будем в дружбе – иншалла.
– Добро! Будем пировать без крови. Тот, кто не идет с боем на нас, мы того щадим...
Прикажи дать вино, только без отравы.
– Гостей не травят, а потчуют с честью.
– Скажи мне: где я зрел до нынешнего дня тебя?
Горец повел усами, изображая усмешку:
– Атаман, в Кюльзюм-море, когда ты крепко побил бусы гилянского хана, я бежал от тебя, спасая своих горцев.
– То правда.
Козаки и стрельцы по приказу Сережки разбивали двери каменных амбаров. Слышались звон и грохот.
– Козаки-и, напусто труд ваш: вина в погребах нет, оно будет вам – идите за мной! – крикнул горец и, поклонясь Разину, махнув казакам, пошел в город.
Двадцать и больше казаков пошли за ним.
Горец, идя, крикнул по-персидски:
– Персы, возьмите у армян вино, пусть дадут лучшее вино! – По-русски прибавил: – Да пирует и тешится атаман с козаками, он не тронет город! Шелк добрый тоже дайте безде-нежно...
Козаки с помощью армян и персов катили на берег бочки с вином, тащили к амбарам тюки шелка. За ними шел горец, повел бурыми усами и саблей, ловко сбил с одной бочки верхний обруч.

⁴¹ Закрывайте базар!

– Откройте вино! Пусть козаки, сколько хотят, пьют во славу города Решта, покажут атаману, что оно без яда змеиного и иного зелья... Пусть видит атаман, как мы угощаем тех, кто нас щадит, го, гох!

Открыли бочки, пили, хвалили вино, и все были здоровы.

– Будем дружны, атаман! И если не хватит вина, дадим еще... сыщем вино... иншалла.

Также не подавая руки, Разин сказал:

– Должно стать, будем дружны, старик! Слово мое крепко – не тронете нас, не трону город!

– Бисйор хуб. – Горец ушел.

На берегу у амбаров на песок расстилали ковры, кидали подушки, атаман сел. Недалеко на ковре легла княжна. Разин махнул рукой: с одного узла сорвали веревки, голубой шелк, поблескивая, как волны моря, покрыл кругом персиянки землю.

– Дыхай, царевна, теплом – мене хрыпать зачнешь, и с Персией прощайся – недолог век, Волгу узришь!

Атаман выпил ковш вина:

– Доброе вино, пей, Сергейко!

– Пью!

– Козаки, пей! Не жалеи! Мало станет – дадут вина!

Козаки, открыв бочки, черпали вино ковшами дареными: ковши принесли армяне; персы подарили много серебряных кувшинов. Стрельцы пили шумливее казаков, кричали:

– Ну, ин место стало проклятушее!

– Хлеб с бою, вода с бою.

– От соленой пушит, глаза текут, пресной водушки мало...

– Коя и есть, то гнилая.

– А сей город добрый, вишь, вина – хоть обдавайся.

– Цеди-и и утыхни-и.

– Цежу, брат. Эх, от гребли долони расправим!

– Батько, пить без дозора негоже.

Разин крикнул:

– Гой, соколы! Учредить дозор от площади до амбаров и всякого имать ко мне, кто дозор перейдет... Лазунка, персы много пугливы – чай, видал их в Фарабате?.. Я знаю, с боем иные бы накинулись, да многие боятся нас и пожара опасны.

– «У тумы⁴² бисовы думы», хохлачи запорожцы не спуста говорят: черт и кизылбаша поймет. А горец тот косатой – хитрой, рожа злая...

– Эх, Лазунка, вот уж много выпил я, а хмель не берет, и все вижу, как Петру Мокеева собаки шаховы рвут... Пей!

Со стругов все казаки, стрельцы и ярыжки, оставив на борту малый дозор, перешли на берег пить вино. Берег покрылся голубыми и синими кафтанами, забелел полтевскими московскими накидками с длинными рукавами. Дозор исправно нес службу, хотя часто менялся.

– А где ж моя царевна?

– Тут, батько!

– Ладно! Пусть пляшет, пирует, дайте ей волю тешиться на своей земле! Ни в чем не претите.

– Чуем.

С болезненными пятнами на щеках, с глазами, блестевшими жадным огнем и оттого особенно едкой, вызывающей красоты, персиянка лежала в волнах голубого шелка на подушках,

⁴² Т у м – родившийся от пленной турчанки или персиянки.

иногда слегка приподнимались глаза под черными ресницами, изредка скользили по лицам пирующих. На атамана персиянка боялась глядеть, испугалась, когда он спросил о ней.

«Умереть лучше, чем ласка его на виду всего города!» – подумала она, изогнувшись, будто голубая полосатая змея, оглянувшись, склонив назад голову, увитую многими косами, скрепленными на лбу золотым обручем. Быстро поняла, что захмелел атаман, зажмурилась, когда он толкнул от себя кувшин с вином, сверкнув лезвием сабли.

Толпа все больше густела. Из голубого в голубом полосатом встала персиянка, закинула за голову голые в браслетах руки, в смуглых руках слабо зазвенел бубен. Княжна, медленно раскачиваясь, будто учась танцу, шла вперед. Глаза были устремлены на вершины гор. Княжна наречием Исфгани протяжно говорила, как пела:

– Я дочь убитого серкешем князя Абдуллаха – спасите меня! Отец вез нас с братьями в горы в Шемаху... Туда, где много цветов и шелку... туда, где шум базаров достигает голубых небес, – там я не раз гостила с отцом... Ах, там розы пахнут росой и медом!.. Не смейтесь, я несчастна. Лицо мое было закрыто... Серкешь, ругаясь над заповедью пророка, сдернул с меня чадру – оттого душа моя стала как убитая птица...

Танец ее не был танцем, он походил на воздушный, едва касающийся земли бег. Дозор часто менялся и был пьян. Два казака, ближних к площади, сидя на крупных камнях, били в ладоши, слушая чужой, непонятный голос, глядя на гибкое тело в шелках и танец, совсем не похожий ни на какие танцы.

– Дочь Абдуллаха бека!

– То Зейнеб?

– Да, сам шах приказал ее взять! – перебегало по толпе.

Персиянка была уже за цепью дозора, но до площади еще было далеко. Персы не смели подойти к вооруженным казакам. Горец с седой косой, военачальник гилянского хана, запретил злить разинцев. Девушка, делая вид, что пляшет, подбрасывалась вперед концами атласных зеленых башмаков. Золотой обруч с головы упал в песок, она кинула бубен и громко закричала:

– Серкешь! Серкешь!

Сверкнув золотом в ухе, вскочил Сережка. Раздался оглушительный свист. Дремавший Разин вскочил и выдернул саблю. Свист рассеял очарование, казаки, мотаясь на бегу, поймали персиянку, подхватив на руках, унесли к пирующим. Девушка извивалась змеей в сильных руках, кричала, но голос ее хрипел, не был слышен персам.

– Трусы! Бейте их! Пьяны!

Разин кинул перед собою саблю, сел, и голова его поникла. Сережка крикнул:

– Гей, казаки! Пора царевне на струг!

Пленница рвалась, била казаков по шапкам и лицам кулаками, ломались браслеты. Казаки шутили, подставляя лицо, пеленали ее в растрепавшийся на ней шелк, будто ребенка. Грубые руки жадно вертели, обнимали бунтующее тело, тонкое и легкое, посмеиваясь, передавали тем, кто ближе к челнам. А когда уложили в челн, она ослабела, плакала, вся содрогаясь.

– Ото бис, дивчина!

Белыми и зелеными искрами вспыхнуло море, заскрипели гнезда весел.

К Лазунке с Сережкой казаки привели бородастого курного перса.

– Вот бисов сын! Идет на дозор и мольт: «К атаману!»

– Чого надо?

Пера протянул Сережке руку, Лазунке – тоже.

– Здоровы ли, земляки? А буду я с Волги – синбирской дьяк был, Аким Митрев... Много, вишь, соскучил, в Персии живучи, по своим, да и упредить вас лажу.

– Сказывай!

– Сбег я от царя-бояр, а вы супротив их идете, и мне то любо! Зол я на Москву с царем, и мало того, что земляков жаль, еще то довожу: не роните впусте нужные головы.

– Голову беречь – козаком не быть!

– Вишь, что сказать лажу: давно тут живу – речь тезиков понимаю. Послушал, познал: с боем ударят на вас крашенные головы, так уж вы либо уйдите, альбо готовы будьте, и вино вам дадено крепкое, чтоб с ног сбить... Кончали бы винопитие, земляки...

– Эх, служилой, должно, завидно тебе козацкое винопитие?

– Не, козак! Сам бы вас, сколь надо, употчевал, да время и место не то... Опаситесь, сказываю от души.

– Правду молыт человек! – пристал Лазунка. – Углядел я оружие и мало говор тезиков смыслю – грозят, чую...

– Да мы из них навоз по камению пустим!

– Как лучше, земляки, – ведайте! Меня велите козакам в обрат свести, за цепь толкните к майдану с ругней, а то пытатъ персы зачнут.

Сережка крикнул:

– Козаки! Перса без бою сведите к площади, толкните да вдогон ему слово покрепче.

Бывшего дьяка отвели и, ругнув, вытолкнули к площади. Дойдя до площади, дьяк зажимал уши руками, кричал персидские слова. Толпа на площади поубавилась – уходили в переулки. Кто храбрее – остались на площади, придвинулись ближе к казакам, кричали:

– Солдаты сели в бест!⁴³

– Сядешь. Жалованье им с год не плачено!

Лазунка, натаскав ковров и подушек, лег близ атамана. Голубой турецкий кафтан был ему узок: ворот застегнут, полы не сходились, пуговицы-шарики с левого боку были вынуты из петель, да еще под кафтаном кривая татарская сабля, с которой он не расставался, топырила подол. Лежа, высек огня, закурил трубку. Сережка подсел к нему на грудку подушек. Иногда Лазунка вставал, брал у пьяного сонного казака пистолет и, оглянув кремь, кидал на ковер к ногам. Он давно не пил вина, вслушивался. Толпа персов снова росла на площади.

– Чего не пьешь, боярская кость?

– Похмелья жду, Сергей. Чую, дьяк довел правду.

– И я, парень, чую!

– На струг бы, – огруз батько?

– У него скоро! Не знаешь, что ли? Вздремнет мало – дела спросит.

– Много козаки захмелели, а тезиков тьмы тем... Не было бы жарко?

Сережка ухмыльнулся, протянул сухую, жилистую руку, как железо крепкую.

– Дай-кось люльку, космач! – покуривая, сплюнув, прибавил: – Ткачей да шелкопрядов трусишь?

– Ложь, век не дрожу, зато в бою всегда знаю, как быть.

Недалеко, сидя на бочке, будто на коне верхом, покачнулся казак, раз-два – и упал в песок лицом. От буйного дыхания из мохнатой бороды сонного разлеталась пыль. Лазунка встал, шагнул к павшему с бочки, подсунув руку, выволок пистолет, кинул к себе.

– Ты это справно делаешь!

– На сабле я слаб, Сергей.

От гор на город и берег моря удлинялись пестрые, синие с желтым тени. У берегов поголубело море, лишь вдаль у стругов и дальше зеленели гребни волн. Горы быстро закрывали солнце. В наступившей прохладе казаки бормотали песни, ругались ласково, обнимались и, падая, засыпали на теплом песке. Кто еще стоял, пил, тот грозился в сторону площади:

– Хмельны мы, да троньте нас, дьявола!

– Сгоним пожаром!

⁴³ С е с т ь в б е с т – не идти в бой в ожидании жалованья, не выданного солдатам.

– Ужо встанет батько, двинет шапкой, и замест вашего Ряша, как в Фарабате, будет песок да камень!

В переулки и улицы все еще тек народ. Ширился гул и разом замер. Настала тишина: толпы персов ждали чего-то... На террасе горы из синей в сумраке мечети голые люди вынесли черный гроб, украшенный блестками фольги и хрусталей. В воздухе, сгибаясь, поплыли узкие длинные полотнища знамен на гибких древках из виноградных лоз. Послышалось многоголосое пение, заунывное и мрачное. Кто не пел, тот кричал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.